



Вильгельм
Грёнбек

В Эпоха Викингов

МИР БОГОВ
И МИР ЛЮДЕЙ
В МИФАХ СЕВЕРНЫХ
ГЕРМАНЦЕВ

Вильгельм Грёнбек

**Эпоха викингов. Мир
богов и мир людей в мифах
северных германцев**

«Центрполиграф»

УДК 94(4)
ББК 63.3(0)4

Грёнбек В.

Эпоха викингов. Мир богов и мир людей в мифах северных германцев / В. Грёнбек — «Центрполиграф»,

ISBN 978-5-9524-5389-0

Фундаментальный труд Вильгельма Грёнбека – датского историка, культуролога, профессора университета Копенгагена – это больше чем исследование древнегерманской культуры, это проникновенный рассказ о жизни и верованиях викингов – предков современных европейцев, населявших Скандинавский полуостров, Данию и Исландию в раннее Средневековье. Профессор Грёнбек рассказывает о материальных и духовных составляющих жизни клана – семейных реликвиях, обмене подарками, заключении брачных и торговых сделок, празднестве жертвоприношения и трансформации ритуала на сломе эпох, когда на смену верованиям предков пришло христианство. Анализируя «Старшую» и Сноррову «Эдды», исландские родовые саги, а также поэму «Беовульф», автор обстоятельно и всесторонне воссоздает картину мира человека Севера, чья жизнь была неотделима от жизни клана, где самым большим злом была потеря чести, а изгнание страшило больше, чем смерть. В издание включены очерки «Эссе о ритуальной драме» и «Вёлуспа», оригинальное толкование главного сюжета скандинавской мифологии.

УДК 94(4)
ББК 63.3(0)4

ISBN 978-5-9524-5389-0

© Грѐнбек В.
© Центрполиграф

Содержание

Часть первая	7
Введение	7
Глава 1	16
Глава 2	33
Конец ознакомительного фрагмента.	41



Вильгельм Грэнбек
Эпоха викингов. Мир богов и мир
людей в мифах северных германцев



Vilhelm Grönbech
THE CULTURE OF THE TEUTONS

Часть первая

Введение

Определение «германский» обычно используют для обозначения того корня, из которого выросли скандинавские, современные германские, а также английский народы. Само это имя, вероятно, было иностранного происхождения и присвоено нам чужеземцами.

Мы не знаем, что оно означает. Вероятно, вначале так называли небольшую часть германских народов, живших по соседству с кельтами; со временем, однако, им стали обозначать все эти народы в целом. Римляне, научившись отличать жителей Галлии от их восточных соседей, назвали последних «германи», совершенно справедливо подчеркнув тесную дружбу, которая с древнейших времен связывала обитателей северного и южного побережья Балтийского моря, а также прибрежных и лесных жителей Северной Германии. Их родство проявлялось не только в языке, но и в культуре, вплоть до самых отдаленных уголков Европы.

Тевтоны ворвались в историю совершенно неожиданно. Их появление пришлось на тот период, когда римляне подводили итоги своей долгой деятельной жизни, кристаллизуя достижения классического мира в той форме, в которой культура Античности была передана последующим поколениям. Они явили себя миру, и следует признать, что в его свете они выглядели бедными и грубыми, в них не было присущего южанам блеска и великолепия.

Сначала мы видим тевтонов со стороны – глазами римлян, которые смотрели на чужеземцев как на иных, непохожих на них людей. Словно бурлящий поток, они затопили Восточную Галлию, но, разбившись о легионы Цезаря, их волны в ужасе отхлынули назад. Так первое столкновение Цезаря с этими варварами было описано самим великим римским полководцем.

Проистекал этот поток из холодных, неплодородных земель, покрытых непроходимыми лесами и болотами. В промежутках между войнами и набегами древние германцы проводили время в полнейшей праздности – отсыпались на ложах из шкур, пировали дни и ночи напролет или от нечего делать проигрывали друг другу свои немногочисленные пожитки, лошадей и женщин, а порой даже жизнь и свободу, вплоть до самой последней шкуры, прикрывавшей их тело.

Их женщины – рослые, сильные, с суровыми лицами и гордым взором, – без помощи мужчин управлялись с хозяйством, а потому пользовались уважением. Заслышав зловещие речи пророчицы, смолкали даже самые храбрые воины. Временами эти буйные люди погружались в молчание и устремлялись в священные рощи, где молились своим богам, приносили человеческие жертвы, а потом пили и буянили, и их крики и вопли снова разносились по всей округе.

В глазах жителей юга эти обитатели северных пустошей были самыми настоящими варварами. Римляне и греки считали их существование полным отрицанием цивилизованной жизни и подчеркивали непритязательный характер германцев. Скромные потребности этих бедных людей можно было удовлетворить без особого труда.

Шкура, прикрывающая наготу, быть может, немного боевой раскраски на лице, кое-какое оружие в руке – таков был внешний вид германцев. Следует признать, что, даже полуголые, они выглядели величественно, ибо то, чего не давало человеческое искусство, они получали у природы – впечатляющие мускулы и великолепные рыжие или белокурые волосы, которым могла бы позавидовать самая прекрасная римская матрона. Германец – истинное дитя природы, и его место – в естественной среде, среди лесистых горных склонов. Здесь он живет, без удержу преследуя лесных зверей или участвуя в яростных военных набегах.

Вернувшись домой, германец проводил время в дремотном безделье, развалиясь на шкурах, не смущаясь ни чадом и копотью очага, ни запахами стойла – его жилище, отчасти напомиравшее хлев, в зимние холода служило убежищем для скота. Потребности организовать свое окружение в соответствии с особенностями своей личности, которую можно назвать инстинктом благородства и цивилизации, германец, очевидно, никогда не испытывал. Дом для него – просто укрытие от ветра и дождя, легко сооружаемое убежище, которое с такой же легкостью разбирается и переносится в другое место.

Живя в природе и существуя за счет того, что она дает, германец сам был частью дикой природы. Изнеженные наблюдатели, жившие на юге, относились к нему с определенным уважением. Германец способен на искреннюю преданность, в иных случаях он готов пожертвовать своей жизнью ради спасения случайного гостя, который явился к нему в дом переночевать. Германские женщины испытывают инстинктивный ужас перед тем, что могло бы их каким-нибудь образом унизить. Однако римлянин, как и всякий носитель древних культурных традиций, был убежден, что в действительности варвар не имеет никакого понятия о таких качествах, как преданность, честь и умение хранить свое слово. Ему никогда не придет в голову, что в мире существуют единые для всех законы нравственности. Он их не знает и, совершая какой-то добрый поступок, делает это, повинувшись природным инстинктам.

Германские народы жили и передвигались ордами, или, правильнее сказать, племенами. Они имели предводителей, вроде королей, и нечто напоминающее общее собрание или совет, на котором имел право голоса всякий, кто владел оружием и мог сражаться. Но не следует думать, что это собрание представляло собой устойчивый государственный институт. У короля не было реальной власти: сегодня воины ему подчиняются, а завтра – поворачиваются спиной; сегодня король может повести их на какое-нибудь рискованное предприятие, а завтра они разойдутся по домам, несмотря на все его приказы и необходимость держаться вместе. На совете побеждает тот, кто сумеет найти самые убедительные слова. Воины потрясают своим оружием, и дело считается решенным. Когда в ход идут подарки и лесть, они, как малые дети, легко поддаются на это, но, если дело касается выполнения обязательств, они становятся неуправляемыми и переменчивыми и не желают признавать никаких правил или порядков.

По мнению римского гражданина, германцы – это люди, в характере которых ярко выражены светлые и темные стороны – ибо к ним неприменимы такие понятия, как добродетель и порок, добро и зло. Римляне охотно говорят об их природной гордости, упрямстве и упорстве, умении не сдаваться даже после поражения, но такие слова, как величие и благородство, они бессознательно оставляют для себя и равных себе.

В произведениях классической культуры мы встречаем полуэстетическую, получеловеческую симпатию к этим детям дикой природы; но даже это чувство основано на смеси страха и ненависти, которую испытывает к ним обычный человек, поскольку считает варваров частью дикой природы. Цивилизованный человек может ощутить приступ восхищения первобытной силой жизни, присущей этим людям, силой, которая течет, сама не зная куда. Человек на вершине своего великолепия может задуматься о счастливой доле детей природы, играющих в грязи далеко внизу, – этого состояния ему, к сожалению или к счастью, достичь не удастся.

Тацит, непревзойденный художник слова своего времени, вознося хвалы их простой жизни, не пытался приукрасить дикаря, не делал попыток показать его более умным или привлекательным, чем он был на самом деле. Напротив, Тацит приложил все усилия, чтобы показать, как скромны потребности дикаря, как просты его добродетели и примитивны пороки. Для германцев, заявлял он, добрые обычаи гораздо важнее, чем для других народов хорошие законы. «Ростовщичество и извлечение из него выгоды им неизвестно, и это оберегает их от него надежнее, чем если бы оно воспрещалось»¹.

¹ Сочинение Корнелия Тацита «О происхождении германцев и местоположении Германии» здесь и далее цитируется по

В своих обычаях эти дикари нашли наивные и простые формы выражения своих примитивных чувств: «Приданое предлагает не жена мужу, а муж жене. При этом присутствуют ее родственники и близкие и осматривают его подарки; и недопустимо, чтобы эти подарки состояли из женских украшений и уборов для новобрачной, но то должны быть быки, взнузданный конь и щит с фрамеей и мечом. За эти подарки он получает жену, да и она взамен отдаривает мужа каким-либо оружием; в их глазах это наиболее прочные узы, это – священные таинства, это – боги супружества. И чтобы женщина не считала себя непричастной к помыслам о доблестных подвигах, непричастной к превратностям войн, все, знаменующее собою ее вступление в брак, напоминает о том, что отныне она призвана разделять труды и опасности мужа и в мирное время, и в битве». И как полагается друзьям, «они радуются подаркам друг друга, давая и получая свободно, без мысли о том, чтобы приобрести побольше; их объединяет дружба и добрая воля». Иными словами, никаких хитроумных планов, а простое спонтанное чувство.

Тацит стремится показать, что «добродетель» и «порок» развиваются у людей, которых он описывает, совершенно естественным путем. То, что наполняет цивилизованного человека ужасом и отвращением к варварам, состоит в том, что мы сталкиваемся здесь с совершенно непредсказуемым существом, человеком, не знающим закона. Дикарь держит свою клятву, совершенно не задумываясь об этом; и точно так же, не задумываясь, нарушает клятвы и обещания; он может быть храбрым и великодушным и в то же время грубым и жестоким. Принять варвара в свой круг знакомств – это все равно что построить дом рядом с вулканом. Что из того, что варвары умеют строить дома и обрабатывать почву, – их уклад и сельское хозяйство примитивны. Они царапают поверхность земли и снимают с нее крохотный урожай, а на следующий год переходят на новое место. Что из того, что у них есть скот, что они умеют воевать и даже обладают неким подобием суда? Они умеют даже производить отличное оружие – но все это не делает их цивилизованными людьми.

Германские народы впервые появились в истории в начале нашей эры; через тысячу лет мир увидел их в последний раз. В течение короткого периода северные народы господствовали на европейской сцене, с яростной поспешностью формируя свой расовый характер и свои идеалы, после чего изменились и слились с людьми европейской цивилизации. Их уход сопровождался исчезновением независимой германской культуры.

Норманнов также описывали представители другого этноса и культуры, и эта картина сильно напоминает ту, которую оставили римские историки, характеризуя их предков. Дикие, кровожадные, плохо поддающиеся доводам разума, наделенные яркими пороками, и для всех остальных народов – настоящие дьяволы, – такую характеристику дают им средневековые хронисты. Цивилизованные люди, судившие о них теперь, были христианами, которые считали, что мир разделен не между народами разного уровня культуры, а между силами света и тьмы, и то, что не освещено светом христианства, является порождением Сатаны. Варвары классической эпохи превратились в демонов христианского Средневековья.

На этот раз подобная картина не являлась единственной, имелась и соперничающая с ней. Здесь, на Севере, германская раса оставила свои собственные памятники для грядущих поколений, показав себя такими, какими они хотели себя видеть, не задумываясь о том, какое произведут впечатление на чужаков, а стремясь полнее себя выразить.

Соседи представляли себе северян как людей, обладающих той же безрассудной жестокостью и неутомимостью, которая вынудила культурный мир заклеить их южных родственников словом «варвары». Дерзкие и импульсивные, чтобы не сказать упрямые, в своем самодовольстве, действуя под влиянием момента, германские бригады имели много сходства с пиратами Севера, викингами. Но если приглядеться, за их беспокойной наружностью можно

заметить присутствие контролирующей и объединяющей воли. В образе жизни викингов было больше расчетливой экономии сил и средств, чем просто дикой, неуправляемой силы.

Старое представление о викингах как о людях, налетающих как шторм на земли, к которым они пристают, разрушающих все, что попадает им на пути, и остающихся, как всегда, бедными, должно в наши дни смениться искренним восхищением их стремлением к обогащению.

Золото, захваченное ими, не сохранилось. Но теперь мы знаем, что викинги были так же неутомимы в поисках духовных богатств, как и в поисках золота. На Севере были накоплены сокровища знаний и мысли, поэзии и мечтаний, которые нужно было привезти домой, несмотря на то что эти духовные богатства гораздо труднее было найти, украсть и доставить домой в целостности и сохранности, чем драгоценные камни и металлы. В наш просвещенный век их даже обвинили в присвоении всей совокупности языческих и христианских знаний, которой владело Средневековье; и, глядя на северную литературу эпохи викингов, мы с трудом можем опровергнуть это обвинение. Хотя, как нам кажется, Бугге² и его последователи многое преувеличивали, нельзя не признать, что викинги имели не только горячее желание освоить элементы иностранной культуры для собственного обогащения, но и обладали таинственной властью взбалтывать культуру и заставлять ее отдавать все, что лежит под поверхностью, а затем усваивать полученные знания настолько полно, что знания эти становилось не только их мыслью, но и их духом.

Норманн не только стремился расширить и обогатить свою ментальную сферу, желание экспансии уравновешивалось в нем не менее ярким стремлением к самопознанию, благодаря чему он сохранял непоколебимую веру в свой полусознательный идеал, составлявший основу его характера. Несмотря на жажду познания, он не был абсолютно открыт новому, напротив, он испытывал сильное подозрение и недоверие к чужим богам, ценностям и образу жизни, которые, по его мнению, не были совместимы с тем, как он оценивал себя. Он держался подальше от того, что было ему незнакомо, пока не становилось ясно, в чем тут секрет, или не исторгал из него тайну, которая его удовлетворяла. Однако если ему не удавалось сделать это, он замыкался в себе и уходил, позабыв и думать об этом.

Он обладал той стойкостью и той гибкостью, которая порождается гармонией души с окружающим миром. Это позволяло ему духовно приспособиться к свойствам окружающей его, зачастую враждебной, среды. Благодаря редкостному самообладанию он был господином окружавшего его мира, глубоко укоренившимся в нем и идентичным ему. Главными критериями, по которым оценивалась его жизнь, был суд товарищей и суд потомков; эти мерилы были абсолютными и непровержимыми.

Жестокость, проистекающая из глубин души, неизменная составляющая его натуры. Эта энергия, определявшая его духовную жизнь, создала целеустремленный, прямодушный характер северян. Эти люди не утрачивали связь с прошлыми поколениями и определяли самих себя с оглядкой на прошлое и память о себе в будущем. Привязанность к прошлым поколениям встречается у большинства народов, но у северян она делает прошлое живой и направляющей силой, побуждающей их не просто отождествлять себя с идеальным образом – образом воина и вождя, великодушного, храброго, бесстрашного, находчивого, непримиримого по отношению к врагам, верного друзьям и искреннего со всеми, – но и бессознательно воспроизводить себя в определенном типе – типе героя саги, жизнь которого достойна поэтического отображения.

Прочность духовной организации, которая характеризует викинга как личность, не менее ярко проявляется и в его общественной жизни. Куда бы он ни явился, он приносит с собой социальную структуру, которая проявляет себя в определенных политических формах, как только он попадает в толпу людей, говорящих с ним на одном языке. Викинг не относится

² Софус Бугге (1833–1907) – норвежский языковед, исследователь «Эдды».

к тому бессловесному типу, который создает калейдоскопические племенные сообщества. Каким бы малочисленным ни был его народ и какой бы слабой ни была его сплоченность, социальное сознание всегда присутствует и проявляет себя очень активно. Викинг сам по себе народ, и ему нет необходимости создавать искусственное целое, собираясь вместе. Как только он закрепляется в каком-нибудь месте, ненадолго или навсегда, словно из земли прорастает закон, и вокруг него вырастает община. И не важно – создает ли его чувство социального порядка целое королевство или небольшое поселение, эта тенденция глубоко укоренилась в его душе и стала неотъемлемой частью его характера.

Культура, в истинном значении этого слова, означает гибкую гармонию между внутренним миром человека и его окружением, так что он не только заставляет свое окружение служить ему для удовлетворения его физически нужд, но и преобразовать импульсы окружающего мира в духовные идеалы и устремления. Культурный человек обладает инстинктивным чувством собственного достоинства, которое произрастает из бесстрашия и уверенности в собственных силах и проявляет себя в точном выборе целей и средств как в вопросах формального поведения, так и в предприятиях с далекоидущими последствиями. В этом смысле викинги – люди с характером; они владеют собой и своим миром с божественной решимостью. Эта гармония может быть очень хрупкой, когда дело касается конкретных действий, но она тем не менее сильна и глубока.

Портрет северных современников, созданный южанами, разительно отличается от портрета, созданного более поздними поколениями германцев, который те оставили для истории. И тем не менее мы объединяем их под одним именем, и делаем это полностью осознавая, к чему это ведет. Ученые уже давно поняли, что оба так тесно связаны, что не просто оправдывают, но прямо-таки вынуждают нас рассматривать их как одно целое. Сведения об обычаях, законах и этических ценностях древних германцев говорят о том, что далекие предки мыслили точно так же, как и их потомки, и были схожи с ними в том, что объединяет мысли и чувства и превращает их в личности.

В свете, идущем с Севера, мы видим, что свевы и маркоманы – как бы их ни называли историки – не были стихийно образовавшимся скоплением людей, лишенных индивидуальности, как воображали себе римляне. Благодаря памяти поколений, поэтическому наследию, передающемуся изустно, а также сохранившимся письменным источникам северян мы можем воссоздать образ их мышления и предположить, каков был их нрав. Мы приходим к выводу, что и преданность, и склонность к предательству были заложены в самой основе этической системы древних германцев, что нередко вынуждало римлян прибегать к суровым мерам. Мы видим, что за их действиями, за их недостатками и достоинствами стоит характер, коренным образом отличающийся от характера римлян, такой же последовательный, такой же рациональный, отображающий цельность личности. И политический гений Цезаря понял, что для того, чтобы его планы, касающиеся этих варваров, осуществились, того мнения о них, которое сложилось у римлян, совершенно недостаточно. Его стремление проникнуть в мысли германцев, понять, что ими движет, само по себе является свидетельством того, что эти варвары несут на себе печать культуры и обладают ярко выраженным характером.

У нас есть преимущество перед римлянами – мы имеем возможность изучать жизнь германцев изнутри. У римлян была великолепная возможность наблюдать их со стороны, а они были превосходными наблюдателями – большая часть того, что римляне и греки написали о германских народах, истинная правда.

Но каждое замечание, подробное или краткое, свидетельствует о том, что это лишь обобщенный, поверхностный взгляд издали. Рассказчик не более чем сторонний наблюдатель – он видит, что делают люди по ту сторону границы, но не понимает почему, а потому его рассказы лишены перспективы и пропорций, и чем точнее детали, тем более странным кажется целое. Подобные описания оставляют у нас в лучшем случае ощущение гротеска, как обычно

это бывает, когда мы смотри издали на двух мужчин, которые разговаривают и оживленно жестикулируют, но не имеем никакого понятия, о чем идет речь.

Существует большая разница между случайным знакомством с людьми, как это делали римляне, видевшие германцев издали и бросавшие краткий взгляд на их повседневную жизнь, с одной стороны, и жизнью среди этих людей, когда можно было видеть, как они готовятся к войне, и встречать их, когда они с нее возвращаются.

Нам в этом отношении повезло больше, чем авторам Южной Европы, но далеко ли мы от них ушли? Существует опасность, что мы слишком поспешно решили, что наконец поняли германцев. Неспособность римлян признать действия германцев человеческими предостерегает нас от неправильного толкования того, что казалось странным нашим предкам, от того, чтобы по ошибке приписывать им свои собственные мысли и побуждения.

Норманны были культурными людьми в полном смысле этого слова. Мы должны признать их равными себе. Они были столь же деятельны, как и мы, находили, не меньше нашего, удовлетворение в жизни и так же, как и мы, ощущали себя хозяевами своей жизни, хозяевами, которые ставили перед собой определенные цели и следовали своим путем, никуда не отклоняясь. Однако признание этого факта только подчеркивает дистанцию между нами, поскольку делает более явной различия между древним и современным способом завоевания и наслаждения жизнью.

И эта разница становится понятной, если сравнить германцев с другими североευропейскими народами, а именно с кельтами. Ибо, несмотря на наше германское происхождение, мы гораздо теснее связаны с кельтами. Мы можем сказать, что они относятся к более современному типу людей.

Чтобы завязать с ними тесную дружбу, не нужно долго присматриваться. В чертах этого народа отражается весь мир, природа и человек. Красота природы, красота человека, героизм мужчин, любовь к женщине – все эти вещи волнуют кельта и доводят до экстаза; его все сильнее обуревают чувства, и вот уже душа готова взорваться – и тогда из нее вырывается лирическая струя, торжествующая или горестная, размышляющая или тоскующая и искренне восхваляющая все, что радует глаз. Его охватывает религиозный экстаз, он полностью отдается незримому, испытывая радость и горе; он погружается с головой в мистицизм, но не теряет при этом ощущения видимой реальности – наоборот, его внутреннее чувство наполняется красотой природы, радостью животной жизни на земле и в воздухе.

Жестокость жизни находит отклик в его душе; он должен жить с ней, чувствовать, что его пульс бьется в таком же бешеном ритме, что и пульс того, что находится снаружи и вокруг него. Он стремится сделать свои картины еще живее, еще богаче, используя все цвета и оттенки. Красота переполняет его, и в своем горячем стремлении ничего не утратить он нагромождает одну картину на другую; ужас и великолепие жизни возбуждают его до такой степени, что он изображает своих врагов исполинами с множеством голов и всеми мыслимыми атрибутами устрашения; его герои имеют сверхъестественные размеры, их волосы – из золота и серебра, а мощь – превосходит мощь богов.

Нет ничего удивительного в том, что творения кельтов нередко поражают и изумляют своими гротескными преувеличениями, это лишь больше привлекает нас. Преувеличение – естественное следствие страстного чувства, которое черпает силу в восприимчивости души к тому, что ее окружает.

Такая интенсивность духовной жизни совершенно чужда скандинавам; мы не найдем ее у них даже в виде исключения. В сравнении с кельтом германец суров и сдержан, он – дитя природы, еще не совсем проснувшееся. Германец не может точно сформулировать, что он чувствует, будет долго и путанно объяснять, и понять его трудно. Он искренне привязан к стране, окружающей его природе; долины и реки наполняют его душу скрытой нежностью; но его чувство дома еще не превратилось в любовь. Его восхищение природой приглушенно

звучит в его речах и мифах, но он не способен разразиться песней, восхваляющей красоту мира. Он не ощущает необходимости распространяться о своих чувствах к женщине, может лишь поведать о каких-нибудь практических моментах. Тема любви появляется в его поэзии только тогда, когда она становится трагической. Иными словами, германец никогда не выдает своих чувств, он говорит о них только в связи с каким-нибудь событием. Северяне ничего не рассказывают о себе; и только тогда нарушают обет молчания, когда речь заходит о тяжелых и жестоких испытаниях, которые нередки в его жизни. Отсутствие событий не заставляет его обратиться к своему внутреннему миру и никогда не открывает шлюзы для потока раздумий или лирики – оно просто наводит на него скуку. Кельт встречает жизнь с открытой душой; готовый к любым впечатлениям, он не позволяет ничему упасть мертвым к его ногам. Германец не лишен страстного чувства, но он не способен отдаваться жизни без остатка.

Как бы ни складывалась его судьба, он прежде всего должен оставаться человеком чести. Все, что происходит в его душе, должно согласовываться с его понятием о чести; необходимо отбросить все страсти и держать их в себе, пока они не найдут своего выхода в этом направлении. Мужская дружба и любовь к женщине никогда не находят выражения ради самого чувства: викинг рассматривает их как способ повысить свою самооценку, и это, соответственно, усиливает его ответственность. Эта простота восприятия мира выражается в его поэзии, которая, по сути своей, состоит из песен и рассказов о великих мстителях, поскольку свершение мести – это высший акт чести, концентрированное выражение его внутренней жизни, ее внешнее проявление. Его поэмы об отмщении отличаются интенсивностью чувств, поскольку месть для германца не просто повторение содеянного, а способ духовного самовыражения, демонстрация своей силы и значимости; благодаря этому горечь поражения или радость победы открывают запечатанные глубины его ума и наполняют его слова страстью и нежностью. Ограничение, порождающее красоту и силу тевтонской поэзии, заключается в том, что в ней выражаются только те чувства и мысли, которые превращают человека в мстителя и побуждают его наказать обидчика, все остальное остается в тени. Женщины предстают в его поэзии как богини, валькирии или как предмет раздора, побуждающий мужчину действовать; во всех остальных случаях не заслуживают особого упоминания. Дружба, величайшая для германца вещь на земле, упоминается только тогда, когда друзья соединяют усилия в борьбе за честь и восстановление прав.

Поэзия германцев наполнена страстью, но она похожа на гейзер, то бьющий из земли, то исчезающий, – она не способна изливаться лирическим потоком. Она впечатляющая, мощная, но трезвая и сдержанная. Эпические произведения германцев отмечены искренней простотой и ограниченным воображением, которое сдерживают прочные границы существования в условиях постоянной борьбы. Герои сказаний сравнимы по своим масштабам с историческими личностями, а их сила редко превышает человеческие возможности. В их жизни нет такого лихорадочного биения пульса, как в жизни кельтов, который порождается чрезмерной восприимчивостью, стремлением проживать каждый момент жизни в том же ритме, в каком живет все окружающее, или неспособностью противостоять ритму своего окружения. Реакции северянина на влияние извне запаздывают, и создается впечатление, что все его поступки диктуются исключительно влиянием изнутри. Импульс, порождаемый внешним миром, не наносит смертельного удара его душе, поскольку его сила уменьшается, испытывая на себе воздействие его натуры.

Существует лишь одна страсть, способная высвободить эту накопленную энергию: месть.

Реакция германца на то или иное событие зависит от того, что произошло в прошлом или произойдет в будущем; от события, случившегося с ним или с его предками, или от события, которое поможет улучшить положение его самого или его потомков. Он не живет моментом, он использует этот момент для рассуждения: поможет ли оно достичь цели или нет? Он не испытывает ненависти к какой-нибудь вещи из-за нее самой или по своему желанию; ибо если

он получает шанс отомстить, отказавшись от ненависти, то он изгоняет ее из своей души; если же он видит шанс использовать ее себе во благо, то его ненависть выплескивается наружу. Однако это вовсе не означает, что германец выходит из себя, стремясь возместить нанесенный ему ущерб.

Мститель прежде всего остается сыном, мужем, отцом и членом общины; дело заключается вовсе не в том, чтобы забыть на какое-то время о своей человечности; наоборот, все свои человеческие качества он вкладывает в дело мести и ведет себя соответственно. Именно в эти моменты безудержного отстаивания своих прав тевтон поднимается до морального величия – и в этом заключается для нас проверка на способность понять его. В отношении тевтона к жизни имеется что-то, что с первого же взгляда заставляет нас забыть о фамильярности, и если в наши дни мы не ощущаем исходящего от него холодка, то это лишь благодаря романтической литературе XIX в.

Охваченные любовью, поспешной и нерассуждающей, поэты и историки сгладили сильные и своенравные черты героев саг, превратив эти суровые фигуры в банальных героев и любовников. Древние характеры были бездарно модернизированы – чтобы сделать их более приемлемыми для восприятия современным человеком. Жестокость и непримиримость северян оказалась в тени их героических поступков и великодушия; при общем молчаливом согласии их стали считать недостатками характера, в то время как на самом деле эти качества были заложены в основе их культуры. При первом взгляде на повседневную жизнь германцев они покажутся нам узколобыми и бесчеловечными. Однако то, что мы называем ограниченностью, на самом деле является цельностью характера. Эти суровые северяне были справедливыми, набожными, милосердными, отличались моральной устойчивостью, но всего этого было недостаточно, чтобы оставаться людьми в современном понимании этого слова.

Человеческая природа германца вовсе не похожа на природу современного европейца – отсюда наша настороженность, которую не смог преодолеть никакой романтизм. На Севере европейец, даже наслаждаясь гостеприимством, испытывает некоторую обеспокоенность; в Элладе он ощущает себя дома. Герои Гомера, в сравнении с викингами, кажутся нам друзьями, близкими по духу людьми; борьба и похвальба, страдания и плач его героев и героинь гораздо ближе нашей плоти и крови, чем целеустремленное поведение мужчин и женщин, описанных в сагах. Мы называем это поведение естественным и человеческим, поскольку германцы овладевали жизнью шаг за шагом, находя время жить одним днем, отдаваясь удовольствию и боли и выражая свои чувства в словах. Боги эллинов не сильно отличаются от того, что мы в самые лучшие и в самые худшие свои моменты приписываем высшим силам. В эпическом наследии Эллады мы узнаем устремления нашего времени; в словах греческих поэтов и философов мы находим отклик, который приносит утешение в момент кризиса.

Причину этому найти не трудно: наша близость к Элладе – это близость родственников. Основной поток наших мыслей и идей шел с юга; и как бы далеко мы ни ушли от классических стандартов, в разных вопросах интеллектуальная и религиозная история Европы и, в не меньшей степени, ее экономическое и социальное развитие удерживали наш курс в русле эллинизма и Рима эпохи эллинизма.

Германцы нас отталкивают, потому что их идеи не соответствуют нашим личным потребностям; но это инстинктивное отвращение в то же самое время объясняет и их скрытую притягательность для нас, которую не удовлетворило до конца романтическое возрождение XVIII–XIX вв. Характерная для германцев сосредоточенность на самих себе обнажает в нас самих узость мышления иного рода; всякий раз, когда мы сталкиваемся с людьми другого типа, один камень из фундамента нашего самодовольства выпадает. Нас поражает не очень приятная мысль, что наша цивилизация не исчерпывает все возможности жизни; у нас рождается подозрение, что сложность наших проблем порождается тем, что мы порой принимаем свое представление о реальности за саму реальность. Мы начинаем понимать, что за нашим гори-

зонтом раскинулся целый мир, и, по мере того как растет осознание этого, у нас возникает подозрение, что некоторые наши проблемы являются проблемами нашего восприятия; наши вопросы часто приводят к пустым рассуждениям, вместо того чтобы раскрыть перед нами всю полноту и широту вечности. Причина этого может заключаться в том, что мы пытаемся сложить целое из отдельных кусочков, а не стараемся понять жизнь как нечто целое. И наконец, когда мы научимся смотреть на мир с новой точки зрения, открывая для себя дали, которые были спрятаны от наших глаз, то, возможно, обнаружим, что Эллада тоже включала в себя больше идей, богатств, а также тайн, чем думали наши философы; в конце концов, мы, вероятно, были не менее романтичными в нашем представлении о Греции, чем в представлении о тевтонах и других примитивных народах.

Чтобы оценить силу и красоту культуры древних германцев, мы должны понять, что их культура коренным образом отличается от той, с которой имеем или хотим иметь дело мы, и что, соответственно, все наши поспешные похвалы и обвинения в их адрес совершенно пусты. По зрелом рассуждении мы приходим к выводу, что не имеем никаких оснований считать себя лучшими судьями, чем авторы классической поры. В те моменты, когда нами овладевают чувства, мы испытываем неподдельное восхищение героизмом и бурными страстями наших предков, но когда мы переходим к историческому анализу, то с гордостью называем их варварами. Самих этих колебаний вполне достаточно, чтобы понять, что в наших оценках мы не достигли того центра, из которого мысли и действия тевтонов черпали свою силу и мощь.

Если мы хотим понять образ мыслей других народов, мы должны отбросить все свои предубеждения о том, каким должен быть мир и человек в нем. Совсем не достаточно признать чьи-то идеи возможными и даже приемлемыми: мы должны стремиться к тому, чтобы эти необычные идеи стали для нас естественными; мы должны отодвинуть как можно дальше присущий нам образ мыслей и на какое-то время обрести другой. Поэтому мы должны постигать культуру и сущность германцев непредвзято и искренне с самого начала, как будто не знаем о них совсем ничего. Если хотим понять, что соединяло души этих людей в единое целое и превращало их в личности.

Глава 1

Фрит

Историки XVII–XVIII вв. имели перед нами большое преимущество – они ощущали себя гражданами мира. Они не чувствовали себя чужими в вопросах, изучением которых занимались, и ничего не знали о той робости, которую всегда испытывает чужеземец. Они были как дома во всем обитаемом мире, по крайней мере пока жили в родной стране или в землях, соседствующих с ней, и совершали все свои путешествия в своем воображении. Они не устремлялись в архивы и библиотеки, а шли прямо к знающим людям, будь это люди недавнего прошлого или более древних эпох: римляне или греки, французы, англичане, китайцы или индийцы. Историк являлся безо всяких формальностей, дружески брал своего героя за руку, говорил с ним, как с приятелем, или, скажем, как человек мира с другим человеком этого мира. В те дни никто не опасался, что различия в языке или в обстоятельствах иного времени могут помешать им понять друг друга. Людей вдохновляла вера в то, что все люди одинаковы, и уверенность в том, что стоит только понять, что двигало человеком, как остальное выяснится само собой. Все человечество имеет единое представление о Боге, о том, что хорошо и что плохо; все люди знают, что такое патриотизм и гражданские чувства, любовь к родителям и детям, – словом, все в мире одинаково.

Если такое упрощенное представление, считавшее основополагающей идеей общечеловеческие интересы, и было оправдано, то именно в отношении германских народов.

Их сообщество было основано на общем единстве, взаимном самопожертвовании, самоотречении и социальном духе. Это было общество, где каждый человек, с момента своего рождения до самой смерти, был связан заботой о своем соседе. Отдельные люди в этом сообществе всеми своими поступками демонстрировали одно: заботу о благополучии и чести своих родственников, и никакие искушения мира не могли заставить их, хотя бы на мгновение, отвести глаза. Они убеждали себя, что ими движет любовь. Поэтому будет вполне естественно, если мы, познавшие на собственном опыте, что такое любовь и какова ее власть, начнем с выяснения того, что нас объединяет с этими людьми. Если нам удастся достигнуть соглашения по этому вопросу, то все, что раньше казалось странным, станет простым и понятным.

Бергтора, жена Ньяля, была женщиной своего времени, строгая в вопросах чести, непреклонная и неумолимая. Ключ к пониманию ее характера лежит в ее знаменитом высказывании: «Меня отдали Ньялю совсем юной, и я обещала ему разделить с ним судьбу». В этих словах слышится общечеловеческая истина, которую мы отлично понимаем («Сага о Ньяле»).

Среди мужчин встречаются еще более суровые фигуры, ставшие образцом для будущих поколений: исландец Эгиль Скалагримссон, истинный викинг, исполненный любви к своему роду. Посмотрите на него, как он едет на коне, перекинув через седло тело своего утонувшего сына, неся его к месту вечного упокоения. Во время погребения он столь горестно вздохнул, что на груди лопнула кожаная шнуровка его одежды. Эта сцена столь показательна и естественна, столь понятна всем людям, что на ум невольно приходит мысль, что мы можем прочитать все, что у Эгиля на душе. Образ жизни и обычаи общества, мораль и восприятие себя самого, выраженные в этом естественном проявлении чувств, несомненно, понять совсем не трудно («Сага об Этиле»).

При ближайшем рассмотрении выясняется, что любовь Эгиля и его скорбь обладают некоторыми особенностями, которые открывают нам новые грани древнего северного характера. Мы узнаем, что, позаботившись о загробном будущем сына, похоронив его с подобающими почестями, Эгиль решил умереть. Но его мудрая дочь Торгерд искусным приемом вернула его интерес к жизни, напомнив отцу, что никто не сможет лучше его прославить погибшего Бёдвара, внушив ему мысль описать свою потерю в звучных стихах – висах. Поминаль-

ная песнь «Утрата сыновей» (Sonatorrek), создав которую Эгиль снял тяжесть потери со своей души, сохранилась и дошла до нас в неизменном виде.

Весьма показательно, что эти прекрасные стихи, дошедшие до нас из глубокой древности, представляют собой песнь о родстве и любви к родичу и что их написал Эгиль, прославленный герой исландских саг. К сожалению, наше понимание его признаний и наслаждение их поэтической формой сильно затрудняет чересчур сложная форма. Эгиль был не только человеком сильного характера, но и тем, кого мы называем скальдом, поскольку его душа находила свое выражение в стихах. Кеннинги (метафоры), являющиеся основой древней поэзии скальдов, слетают с уст Эгиля, выражая его нрав, его страсть. Но поэтические фигуры древних скальдов столь непривычны для нашего уха, что нужно приложить немало усилий, чтобы эти живописные фразы обрели для нас жизнь и значение. Впрочем, набравшись терпения, мы в конце концов начинаем привыкать к цветистым кеннингам скальда и понимать, какие силы породили столь гротескные формы выражения. Это помогает нам почувствовать скорбь отца, оплакивающего гибель сына, которая тяжелыми, скорбными каплями падает от стиха к стиху. Эгиль жалуется, что горе связало ему язык: «Тягостно мне / неволить язык / – песню слагать. / Одина мед / мне не дается. / Трудно слова / из горла исторгнуть»³. Скальд проводит параллель с Одином, который с большим трудом вынес мед поэзии из пещеры великана.

С помощью кеннингов Эгиль-поэт пытается пробиться сквозь стены своей скорби:

¹ Раны выи
Имира грозно
перед жилищем
родича плещут.
² Весь мой корень
вскоре сгинет.
Буря клонит
клены бора⁴.

Эти слова в их великой простоте можно повторять во все времена, – или, по крайней мере, пока жизнь остается борьбой. Трудно найти высшую похвалу поэтическому творению. Приведенные ниже стихи поэмы содержат – насколько мы можем это понять – вариации на следующие темы: ни на кого нельзя положиться, ибо люди принижают себя и рады принять деньги, вместо того чтобы отомстить за кровь их братьев.

¹⁵ Трудно сыскать
во всем народе
мужа, кому бы
можно верить,
ибо продаст
предатель подлый
братию персть
за перстень малый.
Видно, дело бывает в деньгах.

³ «Сага об Эгиле» здесь и далее цит. по кн: Исландские саги. Т. I. Пер. А.И. Корсуна.

⁴ Поэма «Утрата сыновей» здесь и далее цит. по изд.: Поэзия скальдов. Л., 1979. Пер. С.В. Петрова.

Тот, кто потерял сына, должен родить другого – никто другой не сможет заменить погибшего отпрыска:

¹⁷ Сыну замену,
если сам
не родишь,
где ж найдешь?
Кто бы ни стал
на место брата,
тот все едино
не брат родимый.

Тем не менее, несмотря на свое горе, Эгиль помнит, что обладает поэтическим даром и умом, способным раскрыть планы врагов, и не забывает, что его умение владеть словом, помогающее заглушить боль, является даром бога, который его предал:

²² Жил я в ладах
с владыкой сечи,
не знал заботы,
забыл про беды.
Нарушил ныне
нашу дружбу
телег приятель,
судья побед.

С потерей сыновей будущее кажется мрачным, впереди только смерть:

²³ Тошно стало!
Стоит на мысу
в обличье страшном
Волчья сестра.
Все же без жалоб
буду ждать
по всей охоте
Хель прихода.

Нет нужды вглядываться во тьму веков, в далекую культуру, чтобы понять чувства Эгиля; о том, что это – древняя поэзия скальдов, свидетельствует лишь необычная форма поэмы. Даже страстный выпад Эгиля в адрес высших сил, которые узурпировали власть над миром, не кажется нам странным. Наоборот, его гнев по-человечески нам понятен, и мы можем сказать, что он поистине «современен» по духу.

Горе часто доводит человека до таких крайностей, что в его словах появляются очевидные противоречия, но несовместимость страстей никогда не оправдывает вызывающего поведения. Порой чувства напрягаются до такой степени, что кажутся непримиримыми, но сочувствующий слушатель понимает, что не имеет права критиковать автора, пока не проследит все линии до места их пересечения. В душе Эгиля связь между очевидными противоречиями, без сомнения, очень сильна. Мы ощущаем внутреннюю связь между его вызовом, брошенным богам, и отчаянием, порожденным пониманием того, что ему придется биться с ними в оди-

ночку; мы можем сколько угодно гадать об этом, но истина заключается в том, что мысль Эгиля о том, что он мог бы победить смерть, если бы его окружали сплоченные ряды родственников, нельзя понять с помощью простого изучения этих линий.

Эгиль представляет себе свою семью в виде ограды, построенной из шестов; смерть – как брешь в этой ограде. Мы не можем полностью отдаться мощному чувству, которое возникает у нас в ходе чтения этой поэмы, пока не поймем, что это за брешь, а также в чем заключается значение слова «помощь». Страдания одного человека не могут не затронуть семью. Связь здесь столь крепка, что личность просто не может существовать отдельно; стоит лишь чуть ослабить узы, и он падает, самый беспомощный из всех созданий.

Эллин существует как отдельная личность, живущая в пределах сообщества. Германский индивид существует как часть или, скорее, персонификация целого. Можно было бы предположить, что сильное душевное потрясение должно заставить индивида вырваться за пределы фрита, ощутить себя самостоятельной единицей и обрести собственный голос. Но в реальности происходит обратное: чем сильнее потрясение, тем больше личность растворяется в роде. В мгновения, когда человека охватывает сильное чувство, род целиком и полностью завладевает им. Скорбь Эгиля по погибшему сыну – это не скорбь отца; это скорбь родича, который выражает горе устами отца. Из этой страсти и рождается весь пафос поэмы.

Если мы хотим по-настоящему понять таких людей, как Эгиль, мы должны задать себе вопрос: в чем заключается скрытая сила, которая делает родственников неразделимыми? Сначала мы узнаем, что они называют друг друга словом друг (*friend*), а лингвистический анализ этого слова показывает, что оно означает тех, кто любит друг друга; но этот путь ведет в никуда, поскольку этимология не говорит нам ничего о том, кого нужно любить. Мы, возможно, приблизимся к пониманию, отметив этимологическую связь между словом *friend* и двумя другими, которые играли огромную роль в социальной жизни тех лет: *free* и *frith*. В слове *frith* (мир) мы получаем собственное определение родственников фундаментальной идеи, лежащей в основе их взаимоотношений: словом «фрит» (*ст. – норв. fridr*) они обозначали что-то имевшееся в них самих, силу, которая делала их друзьями друг другу и «свободными людьми» по отношению к остальному миру. Но даже здесь мы не можем принять значение этого слова, как само собой разумеющееся, ибо века не прошли для него даром. Такие слова, как «конь» и «повозка», «дом» и «котел», мало изменились под воздействием культуры, но слова, предназначавшиеся для обозначения духовных ценностей, несомненно, претерпевали коренные изменения в ходе духовных трансформаций, происходивших в душе северян за прошедшую тысячу лет. И чем ближе по своему происхождению лежит слово к центральной части души, тем более резкие перемены его ждут.

Среди слов, отмеченных влиянием христианства и гуманизма, одним из самых примечательных является слово «фрит». Если мы присмотримся повнимательнее к старому значению этого слова, то увидим, что оно было более крепким; его крепость в наши дни уступает место слабости. Слово «фрит» в древности было менее пассивным, чем теперь, в нем было меньше покорности и больше воли. В нем присутствовал также элемент страсти, которая теперь скрылась под спокойствием.

Фрит – это любовь, которая связывает родственников. Однако чувство это не следует понимать в современном, сентиментальном смысле. Доминирующей нотой фрита была защищенность; только внутри фрита человек ощущал себя в полной безопасности.

Фрит – это дружба и взаимовыручка, воздержание от агрессии по отношению друг к другу. Как бы ни сталкивались желания конфликтующих родственников, с каким бы упорством отдельные горячие головы ни искали своего собственного пути в меру данной им Богом мудрости, не может быть и речи о вооруженном конфликте. Возможно лишь столкновение идей и чувств в попытке выработать устраивающее всех решение. Родственники не могли поднять руку друг на друга. В тот момент, когда человек узнавал, что противник – его родич, он опус-

кал оружие. Нет сомнений, что добрые родственники могли яростно спорить друг с другом, но, в чем бы ни заключалось дело, всегда был – должен был быть – один конец всем спорам: решение, которое устраивало всех и приводило к миру. Это и есть фрит.

Даже в исландских сагах позднего периода мы почти не находим примеров людей, вступающих в союзы, которые могли привести к семейным конфликтам. Транду с Гаты предлагали деньги, чтобы он выступил против своих двоюродных братьев, с которыми тот был во вражде; но перед тем, как принять это предложение, он вспомнил о законах страны и сказал своему искусителю: «Ты ведь знаешь, что это нечестно» («Сага о Фарерцах»).

Трудно получить истинное представление о фундаментальных законах человеческой жизни, которые создаются на основе совести; еще труднее передать такое впечатление другим. Эти законы нельзя продемонстрировать на примечательных примерах в книгах о великих добрых делах. Значимость таких слов, как «фрит», никогда не выражается явно, поскольку она заключена слишком глубоко. Она не находит прямого выражения в законах; на ней строятся все принятые в обществе обычаи, но она никогда не выходит на свет.

Если мы хотим понять, какие чувства в человеке самые сильные, мы должны изучить его повседневную жизнь, со всеми ее запретами и ограничениями, по мелочам. Но как только наши глаза увидят непрерывную цепь самоограничений и самоконтроля, которая составляет внутреннюю связь в жизни людей, мы поразимся той силе, которая заключена внутри нас и руководит нами вопреки нашему желанию. Когда изучаешь духовное наследие предков, исполняешься сдержанным уважением к этому миру. Норманны все время говорят о войне и борьбе, ссорах и стычках – по поводу власти над королевством или по поводу украденного быка; из-за того, что кто-то вел себя слишком нагло, или о безжалостном сочетании несчастных случаев, посланных судьбой и ввергающих людей в хаос борьбы. Но мы замечаем, что даже в самых яростных приступах страсти все стороны подчиняются одной идее; все происходящее имеет какое-либо отношение к фриту.

И позади всякого закона существует священный страх разрушения родственных уз. Мы чувствуем, что все параграфы закона базируются на одной подспудной идее – родственники не должны воевать друг с другом, а должны поддерживать друг друга.

Когда церковь начала руководить процессом создания законов, она сразу же обратила внимание на существенные упущения в древних кодексах, а именно: в них не было предусмотрено наказаний за убийство родственников. Поэтому такие преступления попали под юрисдикцию церкви; церковь составила свод законов, карающих подобные преступления, и ввела соответствующие термины, адаптировав для этого латинские слова.

Когда законодатели Средних веков постепенно обрели уверенность в том, что сумеют справиться с древним понятием о фрите, чтобы обеспечить место для современных принципов закона, расшатывание древних устоев происходило постепенно: было разрешено считать тяжбы между родственниками неуместными; отказ от помощи при выплате виры, наложенной на одного из родственников, становился подсудным делом. Потребовалось несколько веков, чтобы вывести из свода законов ограничения, налагаемые фритом, и установить принципы всеобщего, а не межродственного гуманизма как основу справедливости.

Странно, но во время переходного периода, когда фрит, как честь, лишился своего верховенства, он нашел четкое выражение в законах, например в статутах средневековых гильдий, которые, по сути, являлись наследниками если не самих кланов, то того, что ассоциировалось с ними, то есть старых свободных сообществ фрита или общины, где люди помогали друг другу выжить. Законы гильдий гласили, что их члены не должны иметь между собой споров; если же среди членов одной и той же гильдии, к несчастью, случалась ссора, им запрещалось, под угрозой позорного исключения, подавать иски в иные суды, кроме гильдейского. Даже в других странах ни один член гильдии не имел права подавать в магистрат или в суд иск на другого члена этой гильдии.

Фризские крестьянские средневековые законы считали необходимым установить строгие правила, регулирующие обязательства одного родственника по отношению к другому. Было объявлено, что люди, находящиеся в близкой степени родства, не могут подавать друг на друга исков в суд, они не могут давать клятв против родичей; но в случае, если они не могут согласиться друг с другом по вопросам собственности или похожим вопросам, один из их ближайших родственников назначался судьей.

Гильдейские статуты так же похожи на неписанные законы родства, как и все лишенные жизни, внешние постановления в отношении совести, в отличие от самой жизни. И они помогают нам понять абсолютный характер фрита, его свободы от сохранения каких-либо прав.

Но они не могут показать нам самую его душу; вместо того чтобы требовать, чтобы между братьями не возникало никаких ссор, они могли бы просто признать, что такие ссоры ни в коем случае возникнуть не могут. Иными словами, вместо запрета, мы должны были признать невозможность ссор. И герои исландских саг как раз и находятся в подобном положении, хотя мы можем почувствовать, что связь внутри клана уже начала ослабевать. Они еще испытывают, будучи относительно незатронутыми, невольное уважение ко всем тем интересам, которые могут повлиять на весь клан в целом. Ко всем предприятиям, которые не затрагивают интересы всех членов клана, надо относиться с крайней осторожностью и тщательно все продумать.

Даже самые вольнолюбивые и несговорчивые персоны остерегаются давать обещания или вступать в союзы, если видят хоть малейшую вероятность нарушения интересов своего родственника. Они панически боятся таких конфликтов. Сила фрита проявляется в том, что его не считают заслугой, чем-то большим, что требуется, но простой повседневной необходимостью, самой очевидной, одинаковой для низких и высоких, героических и негероических людей. И исключения кажутся чем-то отвратительным, странным и неуместным.

Клановое родство было не единственной формой взаимоотношений между людьми, и, как бы мудро и осторожно ни вел себя человек, он никогда не мог быть уверенным в том, что сможет избежать болезненных дилемм. Он мог оказаться в таком положении, когда сила фрита в нем самом подвергалась испытанию.

Так, к примеру, случилось с Гудрун. Ее муж Сигурд был убит ее братьями – Гуннармом и Хёгни. Она высказала свое возмущение в гневной тираде: «Ни на скамье его нет, / ни на ложе, – / в этом повинны / Гьюки сыны! / Гьюки сыны / повинны в несчастье, / горькие слезы / льет их сестра!»⁵ Ее слова звучат как проклятье: «Пусть сердце твое / ворон терзает / в далекой земле, / которой не знаешь ты»⁶. Но в поэме нет ни малейшего намека на то, что она намеревается отомстить братьям. Она стремится словом и делом помешать планам Атли погубить Гуннара и Хёгни и, когда тот убивает их, мстит мужу за то, что он сделал.

Поэмы, посвященные Сигурду, написаны северными поэтами на античные сюжеты; они знакомят нас с мыслями германцев, которые возродились в умах норвежцев и исландцев. Целиком исландской, по теме и лексике, является трагедия, которая привела к изгнанию Гисли Сурсона («Сага о Гисли»). Автор родовой саги изображает двух братьев Гисли и Торкеля совершенно разными по своему характеру, и в своих привязанностях они принимают разные стороны. Торкель – близкий друг Торгрима, мужа их сестры; Гисли нежно привязан к Вестейну, брату своей жены Ауд. Отношения между двумя зятями, очевидно, испортились уже давно, и Торgrim в конце концов убивает Вестейна. Гисли, стремясь отомстить, ночью тайно проникает в дом Торгрима и закалывает его спящего в постели. Мстители, естественным образом заподозрившие Гисли в убийстве Торгрима, пришли к нему, когда тот еще спал; Торкелю, жив-

⁵ Первая песнь о Гудрун. Цит. по изд.: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М.: Художественная литература, 1975. (Библиотека всемирной литературы. Т. 9.) Пер. А.И. Корсуна.

⁶ Вторая песнь о Гудрун // Там же.

шему в доме зятя, удастся войти первым. Увидев на полу сапоги Гисли, на которых еще не растаял снег, он торопливо заталкивает их под лавку. Мстителям снова пришлось уйти несолоно хлебавши; позже, однако, Гисли в неосторожных стихах называет себя виновным, и отряд мстителей спешит к нему, чтобы призвать к ответу. Торкель едет с ними, и ему снова удается предупредить своего брата. По дороге отряд сделал остановку, и Торкель вдруг вспомнил, что ему должны вернуть деньги, и сказал, что хочет воспользоваться возможностью вытрясти их из должника. Но пока его конь стоит оседланным у дома этого должника, а товарищи Торкеля думают, что он пересчитывает монеты, он, взяв займы коня, едет в лес, где спрячется его брат.

Убийство, совершенное Гисли, стало для Торкеля трагедией. Он говорит Гисли: «Убив Торгрима, моего шурина, сотоварища и близкого друга, ты причинил мне большое горе». Серьезные обязательства, которые обычай и привычка налагали на друзей, свидетельствуют о том, что северяне очень серьезно относились к дружбе, и о том, как сильна была привязанность друг к другу. Поэтому положение Торкеля было гораздо более сложным, чем это могло показаться с первого взгляда. Но ради мира нужно было пожертвовать дружбой; иного выбора у Торкеля не было. Здесь мы снова встречаемся с тем же противоречием, что и в поэмах о Гудрун. Горе Торкеля и его мир не могли существовать вместе; они не могли вступить в контакт и породить внутренний конфликт, ибо относились к разным слоям его души. Нам может показаться, что для трезвого понимания всей этой истории не хватает какого-то звена; но стихи в этой саге очень четко отражают психологию исландцев.

Фрит – это нечто, на основе которого строится все другое; он глубже, чем склонность. Он никак не связан с волей, в том смысле, что те, кто делит его снова и снова, считают, что родство – превыше всего. Это – сама по себе воля. Она идентична чувству родства, а не того, что из него возникает.

Торкель скорбит, как и Гудрун; но вероятность того, что эта скорбь станет обоюдоострой, простая мысль о том, что человек может встать на чью-то сторону, ничтожна мала. Поэтому здесь нет причин для возникновения проблем. Тот факт, что родственник принимал чью-то сторону в борьбе с родственником, в поэзии превращался в тайну или в ужас; как результат сумасшествия или чего-то темного, непостижимого, что нельзя даже назвать судьбой.

С ранних времен ум человека ужасал тот факт, что родственник может убить родственника. В саге об отце и сыне, которые, не зная друг друга, встретились в бою и пролили кровь друг друга, эта тема трактуется с поэтической точки зрения. Большой фрагмент таких поэм находим в германской «Песне о Гильдебранде», где отец, возвращаясь домой после долгого пребывания в чужих землях, встречает сына, который вынуждает его, против его воли, вступить в поединок. Гильдебранд не верит отцу, утверждающему, что они родственники, и это приводит их к гибели; отец должен принять вызов, опасаясь позора: «Всемиловитый Господь! – воскликнул Гильдебранд. – Никогда еще не допускал Ты боя между кровными родителями».

Исландская версия, дошедшая до нас в «Саге об Асмунде Убийце Воителей», так близко совпадает с германской песней, что нам приходится признать, что между ними существует тесная связь. Один из братьев в ней зовется на исландский манер Хильдибрандом, другого ассоциируют с Асмундом, героем саги. Разница между более естественным повествованием в «Песне о Гильдебранде» и драматическим изложением в ее северном варианте возникла в основном из желания автора саги сохранить как можно больше эффекта для финальной сцены.

Сюжет, связанный со смертельной схваткой двух родственников, как эпическая тема, не является чисто германским. Он встречается и на западе, у кельтов, и на юге, и в Азии. Вероятно, или, лучше сказать, вполне возможно, что он появился на юге; однако гораздо важнее отметить, как эта тема снова и снова возрождалась от одного кланового народа к другому. Это говорит о том, что в умах разных людей рождаются одни и те же мысли. Люди размышляли о тайне жизненного устройства, когда человека, против его воли, можно заставить убить своего

родственника. У германских народов эта проблема выражена очень четко и ясно: нарушать фрит нельзя, но честь тоже имеет свои законы, и человек может попасть в такую ситуацию, когда он одним ударом уничтожает фрит, честь и еще человека в придачу. Окончание «Песни о Гильдебранде», к сожалению, утеряно, а ведь в ней мог бы содержаться рассказ о совместном плаче обоих воинов о том, что им пришлось совершить. Горечь этой потери усиливает и тот факт, что конец служил кульминацией всей поэмы. Версия Саксона Грамматика – еще более модернизированная версия исландской саги – передает лишь слабое эхо этой кульминации. Но даже в этих поздних подражательных поэмах мы находим пафос совсем иной природы, чем тот, к которому мы привыкли: не безжалостную серьезность смерти, а удивление, переходящее в ужас; не искреннее обращение к судьбе, которое порождает чувство успокоения и которое говорит, что за всякое зло бывает расплата, и за это она тоже будет, если оставшиеся в живых хоть на что-нибудь способны, но только ощущение полной беспомощности и безнадежности. И эта нота присутствует во всех сагах: в «Саге о Хервёр», отец которой, Ангантюр, найдя на поле битвы тело своего брата, говорит: «Нас всех прокляли, раз я стал твоим убийцей; об этом никто никогда не забудет; горька судьба норн». В этих словах выражается его ужас от того, что он превратился в чудовище; его судьба столь горька, что будет заполнять думы его потомков и он станет героем песни для будущих поколений.

Та же безнадежная нота присутствует и в поэме «Беовульф», когда отец оплакивает одного из сыновей, который был случайно убит своим братом. Поэт сравнивает его со стариком, который видит, как вешают его любимого сына. Скорбя, он входит в покои отрока и видит там запустенье: «Гуляет ветер / в безрадостном зале, / – уснул наездник, / ратник в могиле! / – умолкли арфы, / и прежних пиршеств / не будет больше! / Выйдет ли скорбный, / один, стена, / дом и усадьба / ему покажутся / чрезмерно обширными! / Вот так же и в сердце / владыки вед еров / таилось горе: / убит был Херебальд, / но вождь был невластен / за смерть возмездием / воздать убийце. / Ведь и постылого / отец не в силах / сына подвергнуть / позорной казни! / Тогда он в душе своей / людские радости / отринул ради / света Господня: / селенья и земли / он, уходящий, / как должен владелец, / оставил детям»⁷.

Но мир требует большего, а не просто того, чтобы родственники берегли друг друга. У Торкеля Сурсона был слабый характер. Ему было достаточно поставить себя в равное положение с людьми, которые мстили за смерть его шурина. Он говорит Гисли: «Если я узнаю, что кто-то задумал тебя погубить, я тебе сообщу, но я никогда не помогу тебе, если это принесет мне неприятности». Однако Гисли посчитал такую осторожную позицию нечестным компромиссом с совестью. «Я бы никогда не дал тебе такого ответа, какой ты дал мне, и я бы никогда так не поступил», – резко ответил он. Настоящий мужчина никогда не появится в компании врагов своего родственника. Настоящий мужчина не будет бездействовать, пока его родственник не отомщен. А то, что этот родственник ночью прибил своего шурина гвоздями к кровати, для Гисли ничего не значит. Настоящий мужчина не ходит окольными путями и не предлагает родственнику несуществующую помощь – нет, когда последнего объявили вне закона, он может рассчитывать на поддержку, – так, по-видимому, считал Гисли.

И он был прав. Мир – это активная помощь, и родственники должны не жалеть себя, а бросаться в бой друг за друга, помогать, поддерживать и доверять. Наш язык слишком беден, чтобы выразить всю полноту кланового чувства; ответственность здесь абсолютная, поскольку родственники в буквальном смысле должны были помогать друг другу делом.

В статуте гильдии пишется: «В случае если кто-нибудь из братьев убьет какого-нибудь человека, который не является братом гильдии Святого Канута (т. е. нашей гильдии), братья должны помочь ему в этой беде всем, чем могут. Если он решил спастись по морю, то

⁷ Здесь и далее поэма «Беовульф» цит. по изд.: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М.: Художественная литература, 1975. (Библиотека всемирной литературы. Т. 9.) Пер. В.Г. Тихомирова.

они должны предоставить ему лодку, весла, черпак, топор и трутницу. Если ему нужна будет лошадь, они должны дать ему лошадь <...>. Любой брат, который способен помочь, но не оказавший помощи, должен покинуть ряды этой гильдии, как разносчик заразы».

Каждый брат обязан помогать своему брату во всех судебных разбирательствах. Иными словами, если один брат попал под суд, вместе с ним должны идти на судебное заседание двенадцать других братьев гильдии, чтобы поддерживать его. Они также должны охранять его и сопровождать в здание суда и оттуда, если это потребуется. А когда подсудимый должен давать присягу в суде, двенадцать избранных членов гильдии должны быть выбраны по жребию, чтобы присягать вместе с ним. Они должны также всячески помогать ему в суде. Человек, который принес клятву, но не сумел помочь своему брату или дал показания против него, подвергался крупному штрафу.

Рассмотрим два рода дел, два вида убийства: 1. Член гильдии убил чужака; 2. Чужак убил члена гильдии. В первом случае братья должны сделать все, чтобы убийца мог скрыться, предоставив ему коня или судно. Во втором правило было таким: ни один брат не ест, не пьет и не общается с убийцей на суше или на море. Гильдия должна помочь наследникам убитого отомстить или вернуть свое добро.

Нам трудно поверить, что такие двойные стандарты действовали в сообществе граждан, а не в шайке разбойников; достойные, консервативные, просвещенные люди считали их совершенно естественными. А ведь эти люди в те дни олицетворяли, так сказать, прогресс в историческом сообществе. Братская солидарность в мире была их прочной связью с прошлым, а культурная ценность этого духа солидарности проявлялась в том, что была движущей силой всех реформаторских движений в Средние века. Как братья в гильдии, так и родственники были так сильно наполнены «любовью», желанием помочь, что у них не оставалось энергии для того, чтобы судить, где добро, а где зло. Они не были по природе и по своим принципам несправедливыми и сторонниками только своей партии; вера и чувство справедливости вполне могут уживаться в душе человека; но эти понятия принадлежали, если использовать фразу, которую мы уже приводили выше, к различным слоям души и никак не касались друг друга.

Бескомпромиссный характер фрита ярко демонстрирует последнее появление старого Эгиля на собрании членов общины. К тому времени Эгиль уже состарился и отошел от дел. Между его сыном Торстейном и Энундом Съони, сыном Стейнара, вспыхнула ссора из-за участка земли. Стейнар отправил туда пастись свое стадо, а Торстейн перебил его пастухов. Стейнар вызвал Торстейна на суд общины. В ходе разбирательства собравшиеся увидели направлявшийся к ним отряд, во главе которого ехал мужчина в полном вооружении. Это был Эгиль, а с ним – восемьдесят бойцов. Он спокойно спешился, отдал необходимые распоряжения, подошел к холму, где заседал суд, и сказал своему старому другу Энунду: «Это ты потребовал, чтобы моего сына вызвали в суд за нарушение фрита?» – «Нет, не я, – ответил Энунд, – это случилось не по моей воле, я слишком дорожу нашей дружбой, чтобы пойти на это; хорошо, что ты пришел...» – «Ну что же проверим, так ли это на самом деле; давай возьмем дело в свои руки, чтобы эти два боевых петуха, науськиваемые друг на друга своей юностью и советом чужаков, не пострадали». И когда дело было передано на рассмотрение Эгиля, он спокойно постановил, что Стейнар не получит возмещения за своих убитых рабов; его хозяйство будет конфисковано, а сам он должен покинуть этот край еще до дня своего отъезда из страны.

Последнее появление Эгиля на публике было не лишено благородства; это было благородство сильного простого характера. Он взял на себя роль судьи и решил дело – как мы видим, в нарушение всех разумных и справедливых ожиданий, – как будто существовала лишь одна его сторона, – и сделал это с холодным превосходством, которое не оставляло никаких сомнений в том, что его совесть оправдывает все его поступки. Здесь Эгиль снова стал мону-ментальным воплощением умирающих старых порядков, носителем благородства (*др. – исл. Drengskapur*), высочайшей добродетели.

Та же самая наивность видна и в другом старомодном характере, Халльфреде, которого сам конунг Олав назвал Трудным Скальдом. Когда его отец с редкой непредвзятостью вынес приговор против него, он спросил: «Кому же мне верить, если даже отец меня предал?»

Эта несгибаемая простота, которая принимает один взгляд на вещи как нечто само собой разумеющееся, ставит Халльфреда, как и Эгиля, вне всяких подозрений в эгоизме или несправедливости и превращает их в особый тип. Это не просто тип людей своего времени, это воплощение самой культуры того времени. Так думали и поступали не исключения, не ярко выраженные индивидуальности, не люди, которые находились вне сообщества, а все люди вообще. Идея фрита так глубоко укоренилась в сознании людей, под всеми особенностями их характера и склонностями, что влияла на них только снизу, а не так, как склонности или чувства человека могли влиять друг на друга. Характеры людей сильно различались, но брешь в характере не добиралась до центра души. Эгиль был человеком несгибаемой воли и беспримерного упрямства, с ним очень трудно было иметь дело и в своей стране, и за границей; он был хозяином в своем доме, и никогда бы не признал мирный договор, условия которого были продиктованы не им. Другие люди могли быть более покладистыми, миролюбивыми, готовыми пойти на компромисс, чтобы избежать столкновения и устранить причины конфликта, но он никогда не пошел бы на это, если дело, конечно, не касалось основ фрита и родства.

Ум и дипломатические способности не были запрещены в древности. Любой человек имел право силой пробить себе дорогу, даже в таких делах, которые напрямую касались его отношений с братьями и родственниками. Он имел право немного отклоняться от требований фрита, до тех пор, пока не пробивал в нем брешь, какой бы малой она ни была. Но он всегда должен был быть готовым к тому, что фрит встанет у него на пути. Человеку позволялось дать своим родственникам понять, что он предпочитает другой образ жизни, что ему хотелось бы, чтобы они приняли его принципы – так, по крайней мере, делали в Исландии в эпоху саг, и я не думаю, что эта свобода появилась недавно, но фрит прочно стоял на своем. Что же касается отказа от образа жизни, который вела семья человека, и выработки собственной, нейтральной точки зрения – об этом не могло быть и речи.

Человека приносят домой бездыханным. Вопрос о том, что он сделал, о том, какова была его прошлая жизнь, отходит на второй план. А на первый выступает одна мысль – он наш родственник. Расследование должно ответить на следующие вопросы: как он погиб – от руки человека или другим путем? Есть ли раны и какие? Кто его убил? И после этого родственники выбирают себе лидера или собираются вокруг прирожденного мстителя и обещают всяческую поддержку его мести – не важно, какой она будет – с помощью оружия или суда. Родичи убийцы, со своей стороны, хорошо понимают, что им нужно делать; они знают, что семья убитого будет мстить. Так проста и незамысловата идея фрита. Она имеет дело лишь с фактами и не принимает во внимание никаких личных расчетов и причин, которые привели человека к гибели.

Во всей старой нордической литературе с ее бесконечными убийствами, оправданными или нет, не находим ни единого примера человека, который по своему желанию отказался бы ото всех попыток отомстить убийце, даже понимая, что его родственник погиб из-за своего дурного характера. Родичей могут заставить отказаться от мести, они могут понять бессмысленность всех попыток возмездия, но в любом случае мы можем привести время от времени встречаемую фразу: «Я не пожалел бы ничего, если бы был уверен, что смогу отомстить». Это свидетельствует о том, что таких примеров было много; могли быть и, вероятно, бывали случаи убийств, последствия которых нам не известны. И дело заключается в том, что авторы саг всячески подчеркивают ту силу отчаяния, которое охватывало людей, вынужденных отказаться от мести. Горечь отказа хорошо видна в тех запретах на месть по отношению к обидчику, которые время от времени налагались в южных и северных землях тевтонской территории, если он был уже осужден судом или повешен по его приговору.

С другой стороны, убийца приходил домой и заявлял коротко и ясно, что убил такого-то «и его родственники не могут не признать меня виновным в этом убийстве». Сразу же после этого его родичи начинали готовиться к обороне, к защите своих людей и самих себя. Во время этой подготовки они пускали слух или делали вид, что осуждают поступок убийцы, но все это делалось для отвода глаз и никак не влияло на действия семьи; наоборот, это только усиливало желание защитить себя от мести.

Исландец приветствует своего родича на пороге, заявляя, что испытывает искреннее желание, чтобы он перевернул новый лист своей жизни и начал вести себя достойно, а если он этого не сделает, то пусть ищет себе новое пристанище. После этого они входят в дом и обсуждают, что надо делать, после того как пришедший совершил убийство. Или же душегуб мог ответить, как Торвальд Крок – виновный в простом убийстве – ответил на упрек своего родственника Торарина: «Какой смысл говорить о том, что случилось; ты навлечешь на себя новые беды, если откажешься помочь нам; если же ты возьмешь дело в свои руки, нам будет легко найти других помощников». И Торарин отвечает: «Советую тебе явиться сюда со всеми твоими [родичами], а мы привлечем других» («Сага о Барде Асе Снежной Горы»).

В старом германском парафразе Нагорной проповеди слышится эхо неистового характера этого мира: германизированная заповедь Христа, посвященная неограниченному самоотречению, гласит: «Если твои глаза тебя оскорбляют, пусть твои руки их вырвут, – говорит он. – Не имей дела с родственником, который ведет тебя к греху, к злодеянию, даже если у тебя не будет родственника ближе его; лучше отказаться от него, возненавидеть его и заглушить в своем сердце любовь к нему, чтобы подняться в одиночестве на самое небо».

Личные симпатии и антипатии, конечно же, не могут противостоять требованиям фрита. Отношения Торстейна и его отца никогда не были теплыми и сердечными; по мнению Эгиля, его сын был слишком мягким, слишком беспечным. Эгиль не мог жить в его доме и на старости лет отправился к своей дочери; но его личное отношение к сыну не могло ни на минуту заставить его задуматься, стоит ли ему вмешиваться или нет.

В «Саге о Союзниках» рассказывается история, посвященная этой теме – взаимоотношениям отца и сына, которые никак не могут ужиться друг с другом, но их объединяет общее чувство против чужаков. Сына звали Одд, он был богатым человеком; отец, Офейг, был бедняком. Одда втянули в судебное разбирательство, в ходе которого недоброжелатели решили оставить его без гроша. Они поклялись не отпускать его, пока совсем не разорят. Но в дело вмешивается хитрый старый Офейг – воспользовавшись тем, что всем известны его плохие отношения с сыном, он пришел к его недругам и заверил их, что их предприятие бессмысленно и опасно: «Так же как мой сын имеет деньги в своем сундуке, так он имеет и ум в голове и найдет выход, когда потребуется. Знаете ли вы точно, сколько добычи достанется каждому из вас, а ведь вам придется делить ее на восемь частей? Ибо не надо думать, что мой сын будет сидеть дома и ждать вас; у него есть корабль, как вы знаете, ведь, если не считать земли и дома, богатство человека может плавать по воде, это я хорошо знаю. То, что человек получил, то он и имеет». И здесь старик чуть было не уронил толстый кошелек, спрятанный у него под плащом; эти деньги за свою помощь он потребовал от своего сына заранее. Так он, безо всяких сомнений, защищал фрит, как он его понимал и искренне гордился своим успехом и успехом сына в улаживании этого дела.

Во имя фрита можно отдать все, отказаться ото всех обязанностей, от рассуждений о себе, пожертвовать всем, вплоть до своего собственного достоинства, – если представить себе, что, помимо чувства родства, в ту пору существовало еще и чувство собственного достоинства.

Великим героическим примером дочерней и сестринской преданности служит Сигню. В «Саге о Вэльсунгах», основанной, вероятно, на более старых поэмах, рассказывается о том, как ссора между Вэльсунгом и его зятем Сиггейром, мужем Сигню, привела к гибели первого. Единственному выжившему сыну Вэльсунга, Сигмунду, пришлось прятаться в лесу; здесь он

обдумывал, как отомстить за отца. Сигню посылает, одного за другим, своих сыновей ему на помощь и тем самым безжалостно приносит их в жертву, когда выясняется, что они ни на что не годные трусы. В конце концов, Сигню, изменив свой облик и не узнавая никем, является туда, где прячется Сигмунд, и рождает от брата сына Синфьётли, истинного мстителя, инстинктивно ощущающего клановое родство. «Умудренный в военных искусствах юноша обнял меня своими руками; в его объятиях я ощутил радость, но и ненависть ко мне», – говорит Сигмунд. И когда наконец приходит время долгожданного возмездия и тело короля Сиггейра охватывает огонь, Сигню бросается в костер со словами: «Я сделала все, чтобы король Сиггейр был предан смерти; я сделала так много, чтобы отомстить ему, что не хочу больше жить, и умру теперь вместе с Сиггейром столь же охотно, сколь неохотно я с ним жила!»

До чего довел ее фрит! Сигню испытывает ужас, пока ее сестринская любовь не будет удовлетворена. Ее раздирает на части материнская любовь и страх перед инцестом. Ибо в тексте саги нет никаких намеков на то, что Сигню относится к тем суровым людям, у которых одна страсть подавляет все другие.

Очень хочется считать эту сагу исследованием, образцом описания проблемы, сознательной попыткой выяснить, как власть фрита влияет на характер человека. В этом есть свой резон; в истории о Сигню есть такая идея. Сознательно или нет, но автор и его слушатели хотели узнать, что фрит, с одной стороны, и фрит – с другой (отношение женщины к своему мужу ведь тоже нечто вроде фрита), оказались в таком сильном противостоянии, что продемонстрировали свою власть, сокрушив человеческие судьбы. Сигню должна была отомстить своему мужу за смерть отца, несмотря на все человеческие законы, и она должна было отомстить за это самой себе. Ее слова: «Я сделала так много, чтобы отомстить ему, что не хочу больше жить» – это не пустая фраза, это главная тема всей саги.

В «Саге о Вёльсунгах» Гудрун оплакивала своего мужа Сигурда, но убить своих братьев, погубивших его, не могла; Сигню же должна была помочь отомстить за отца, даже если ей пришлось пожертвовать для этого мужем и детьми.

Таким образом, гильдейские статусы, утверждающие, что братья должны защищать друг друга, и принимающие во внимание только человека, а не дело, вовсе не преувеличение. А мир родства включает в себе нечто, чего никогда не найдешь в параграфах закона, а именно: спонтанность, необходимость, не рассуждающее: «Мы не можем поступить иначе».

И откуда берется это «Мы не можем поступить иначе»? Из глубин, которые лежат ниже самоопределения и понимания себя. Мы можем проследить движение идеи фрита от ее проявления в сознании человека, вниз через все его склонности, пока она не исчезнет в корнях его воли. Мы смутно понимаем, что не человек управляет фритом, а фрит – им. Он лежит на дне его души, как великий фундаментальный элемент, со всей слепотой и силой природы.

Фрит образует то, что можно назвать основой души. Это не просто сильное чувство среди других чувств, а самое ядро души, которое порождает все мысли и чувства и обеспечивает их энергией жизни. Или это – центр души, где мысли и чувства получают штамп своей человечности и вдохновляются волей и направлением действий. Он отвечает тому, что мы сами называем человеческим. Человеческое в нас всегда отмечено печатью родственных чувств. В нашей культуре деяние бунтаря считается бесчеловечным, и, строго говоря, мы одобряем благородное поведение тем, что называем его по-настоящему человеческим. У тевтонов же первое осуждается, как разрушающее родственные отношения человека, а последнее восхваляется, поскольку усиливает чувство фрита. Поэтому убийство родственника – это тягчайшее преступление, позор и несчастье, в то время как убийство чужого – это просто действие, которое, в зависимости от обстоятельств, может быть оправдано или нет.

На этом уровне спонтанности совершенно не важна разница между мной и тобой, если мы родственники. Если фрит является основой души, то эта основа общая для всех родственников. Родичи усиливают друг друга; это не отдельные люди, которые соединяют свои силы,

нет, они действуют как единое целое, поскольку в глубине души у каждого из них имеется нечто общее, что знает и думает за них. Скажем больше – они связаны так тесно, что один человек подпитывается силой от другого.

Эту особенность людей Севера хорошо знают медведи, как гласит пословица, известная в Северной Швеции. «Легче сражаться с двенадцатью мужчинами, чем с двумя братьями» – такое высказывание приписывают этому мудрому животному. Вступив в бой с дюжиной бойцов, медведь может выбирать себе противника по одному; но двух победить поодиночке нельзя. И если один погибает, то его сила переходит к другому.

Солидарность северян – проявляющаяся в законах мести – основана на естественном психологическом единстве. Действия и страдания отдельного человека текут по каналам души, передаваясь всем, кто принадлежит к одному с ними племени, так что, по существу, они совершают поступки всех других. Когда члены клана сопровождают своего родственника в суд и изо всех сил поддерживают его, они не делают вид, что его поступок – их поступок, а на самом деле ощущают это; пока вопрос не решен, все родственники, имеющие к нему отношение, находятся в состоянии постоянного вызова. Не только убийца подвергается опасности погибнуть от вытасченного им из ножен меча; отомстить можно, и убив кого-нибудь из его родственников, если оскорбленная сторона находит того, до кого гораздо легче добраться, или считает его более «достойным» в качестве объекта для мщения.

В одной из саг из «Книги о занятии земли» говорится, что Гудбранду пришлось заплатить своей жизнью за любовные похождения брата. Ингольв оскорбил дочь Оттара, настойчиво посещая ее дом. Оттар отомстил за честь своей дочери, убив брата Ингольва Гудбранда. Ингольв был очень осторожен и не дал защитникам девушки ни одного шанса убить его, поэтому они решили нанести по нему удар, погубив брата («Книга о занятии земли. Часть третья»).

Аналогичным образом, все люди, связанные узами родства, страдают от любого проступка члена своего клана: все чувствуют боль потерь, все в равной степени жаждут мести. И если преступника обязывают уплатить виру, то сумму виру делят на всех.

Так родственники заявляют о единстве их тел и душ, и эта взаимная идентичность служит основой, на которой строится общество и его законы. Во всех отношениях между людьми принимается во внимание благо всего фрита, а не отдельного человека. То, что совершил отдельный человек, связывает всех, кто входит в его фрит. Родственники убитого человека являются в суд как обвинители. И весь клан убийцы отвечает за возмещение ущерба, и клан за него платит, а штраф за убитого получает его фрит, и сумма полученных денег распределяется таким образом, чтобы досталось всем. Две семьи обещают друг другу мир и безопасность в будущем.

Когда дело об убийстве или ранении передается в суд, его решение не должно нарушать демаркационную линию, установленную родством. Вся община приравнивается к отдельному человеку, у которого ничего нельзя отрезать или удалить, и его права составляют единое целое, которое не может разрушать приговор.

Германское правосудие не знает такого понятия, как избирательное правосудие: оно может признать одну сторону правой, а другую – виновной. Если убили человека, а его друзья отказываются от немедленного мщения и обращаются в суд, то община должна лишить их прав фрита и возмещения ущерба или осудить всем миром, объявив, что они не достойны искать защиты в суде. В первом случае община добавляет свой авторитет к делам пострадавшей партии, отказав осужденным в праве поддерживать свое родство или защищать и помогать убийце; во втором случае, если убийство было совершено в целях самообороны или было спровоцировано, закон говорит подавшим иск: «Твой фрит был побежден, у вас нет прав на отмщение».

Нас с детства учили рассматривать притчу о связке прутьев как пример того, какое огромное значение имеет единство. Отношение германцев начиналось совсем с другого конца. Для них единство – это не соединение, это первое, что появилось на свет. Идея взаимной под-

держки не играет у них главной роли; они не рассматривают ее как собрание разных людей, которое увеличивает их силы; для германцев именно сила служит объединяющей основой. Поэтому для них все сообщество разрушается, а с ним уменьшается и сила его членов, если от фрита отрывается хотя бы один человек. И они сравнивают группу родственников как ограду, сооружаемую шест за шестом, которая окружает священную землю. И если один шест падает, то брешь образуется во всем клане и его земля становится незащищенной.

Таковыми были фрит, который в древние времена объединял родственников, и любовь, которую можно назвать чувством идентичности. Она столь глубоко укоренилась в душе человека, что никакая симпатия или антипатия, никакие изменения настроений не могли ее поколебать или уничтожить.

Ничто не имело такой силы, которая могла бы добраться до этого чувства и разрушить его. Даже самые сильные чувства и обязательства по отношению к чужим людям не могли туда проникнуть и породить внутреннюю трагедию или конфликт души. Если назвать Сигню типичной женщиной, то она была вынуждена делать то, что предпочла бы не делать вовсе; волнующие слова: «В этом была радость, но я также ненавидела это», несомненно, можно отнести и к ее состоянию после совершения мести. Северяне очень близко подошли к трагедии, где изображается человек, который страдает от того, что он должен действовать. Но здесь нет даже намека на внутренний конфликт, когда Сигню в страхе обдумывает, что должна сделать. Трагический элемент приходит извне; Сигню действует по зову сердца, не испытывая никаких сомнений; и эти действия приводят ее к гибели. Когда первая ссора между родственниками сознательно становится объектом поэзии, как в «Саге о людях из Лососьей долины», в которой повествуется о двух двоюродных братьях, поссорившихся из-за женщины, мы обнаруживаем, что стоим на пороге нового мира.

В центре повествования – трагический конфликт, раздиравший душу мужчины, после того как он из-за женского тщеславия рассорился со своим братом. Гудрун, обладавшая сильным характером, так и не смогла забыть, что когда-то любила Кьяртана, но была им отвергнута. Тогда она вышла замуж за Болли, двоюродного брата Кьяртана, и сделала его орудием своей мести. Наконец день отмщения настал: Гудрун узнала, что Кьяртан должен в одиночку проехать мимо усадьбы Болли. Гудрун поднялась ни свет ни заря, говорится в саге, и разбудила своих братьев: «Эй, вы, храбрецы, вам больше пристало быть дочерьми крестьянина, которые ни на что не годятся. Кьяртан ославил вас на всю округу, а вы спите и не знаете, что он проезжает мимо нашего дома с одним или двумя слугами...» Братья оделись и вооружились. Гудрун убеждает Болли поехать с ними. Он сомневается, стоит ли это делать, ведь Кьяртан его родственник. Но Гудрун говорит ему: «Да, это так, но ты не можешь угодить всем; если ты не поедешь с братьями, то я от тебя уйду». Услышав эти слова, Болли берет оружие и уходит. Отряд устроил засаду у Козлиного ущелья. Болли молчал весь день, лежа на краю ущелья. Его зятюм не понравилось, что он лежит там, наблюдая за дорогой; они схватили его за ноги и стянули в овраг. Вскоре появился Кьяртан, и начался бой. Болли стоял в стороне, держа в руках свой меч Фотбит («Бьющий по ногам»). «Эй, родич, зачем ты выехал из дому, если просто стоишь и смотришь? Не пора ли прийти на помощь тем или другим и испытать, на что годится твой Фотбит?» – стал подзадоривать его Кьяртан. Болли сделал вид, что не расслышал. В конце концов зятья вынудили его вступить в схватку – Болли выхватил меч и бросился на Кьяртана. Увидев это, тот произнес: «Похоже, ты решился помочь этим трусам, но я лучше приму от тебя смерть, чем подарю тебе гибель». С этими словами Кьяртан бросил на землю меч, не желая защищаться, и Болли, не проронив ни слова, заколол его. После этого он подхватил Кьяртана, и тот умер у него на руках («Сага о людях из Лососьей долины»).

Сомнение, колебания лежат за пределами фрита; эти главы затрагивают вопрос о средневековом интересе к умственным проблемам; но старая, берущая за душу и потому, по сути своей, постыдная меланхолия по-прежнему звучит в сагах. Когда Гудрун поздравляет вернув-

шегося домой Болли, в его словах, обращенных к ней, меньше трагедии, чем морального отчаяния: «Это горе не изгладится из моей памяти, даже если ты не будешь мне об этом напоминать».

Фрит, таким образом, всего лишь чувство родства; оно дается раз и навсегда при рождении. Симпатия, которую мы испытываем, подружившись со своими соседями, была даром природы, чертой характера.

По сравнению с любовью в наши дни семейные чувства в древности почти целиком были результатом рассудительной жизненной стойкости. Люди древности не испытывали того напряженного чувства, которое современные люди считают жизненно необходимым для любви, той болезненной нежности, которая доминирует в наших сердечных чувствах и которую испытывает не только мужчина к женщине, но и мужчина к другому мужчине. Христианский герой-любовник полностью поглощен своим чувством, он разрывается между желанием давать и получать. Люди же древности становились сильнее и здоровее благодаря своей дружбе; фрит всегда был гарантом уравновешенности и трезвого взгляда на жизнь.

Поэтому вполне естественно, что для германцев главным в понятии «фрит» и *sib* (родство) было то чувство безопасности, которое он им давал. Германское понятие о безопасности включало в себя активность, желание и действие, или, по крайней мере, готовность к действию. В латинском мире слово *рах* (мир) в первую очередь означало прекращение использования оружия или состояние равновесия, благодаря отсутствию беспокоящих элементов; у германцев же фрит означал вооружение, защиту, оборону – или мирную силу, которая заставляла людей относиться друг к другу дружелюбно. Даже если мы находим в германском тексте выражение «заключить мир», фундаментальная идея, лежащая в его основе, заключается не в том, что при заключении мира устраняются беспокоящие факторы и улаживаются проблемы, но в том, что среди соперничающих сторон внедряется мирная сила.

Переводчик англосаксонской поэзии сталкивается с бесчисленными трудностями, поскольку ни одно современное слово не передает полного значения таких терминов, как *freodu* и *sib*, обозначающих «мир». Если он удовлетворяется употреблением слова «мир» в разных контекстах, то лишает поэтические строки тех оттенков значения, в которых заключен смысл той или иной поэтической строки. Если же он будет всякий раз переводить это слово по-новому, он передаст только одно его значение, отбросив все другие оттенки. Он вытащит из этого слова маленький пучок, а до корней так и не доберется. Энергия слова, его жизненная сила будет утеряна.

Когда в одном месте поэмы враги или злоумышленники просят фрита, мы имеем полное значение слова: признание прощающей воли, подчинение требованию не совершать насилия; а когда Бог в книге «Бытие» обещает фрит патриарху, то полное значение этого слова – благоволение, горячее желание быть с ним и защищать его, сражаться за него и, если потребуется, совершить ради него зло. И тем, кто ищет фрит, могут быть предоставлены в помощь не только люди, но и, к примеру, земли и крепости.

Фрит – это еще и общая воля, единство, незлобивость, верность, словом, все, что помогает людям жить вместе. По словам автора англосаксонского «Бытия»⁸, состояние, в котором ангелы жили вместе с Богом до того, как они согрешили, можно назвать словом «фрит». Именно этот фрит разрушил Каин, убив брата, «а сам, клейменный, / утратив радости рода людского, / бежал в пустыню / и там породил / многих проклятых / существ, подобных / Гренделю-волку» («Беовульф»). И то же самое сказала Мария Иосифу, когда он задумал уйти от нее: «Ты навсегда разорвешь наш фрит и откажешься от моей любви».

⁸ Вероятно, имеется в виду поэт Кэдмон (*англ.* Caedmon, ум. ок. 680) – один из первых англосаксонских авторов. «Гимн Кэдмона» – одно из наиболее ранних произведений на древнеанглийском языке. Кэдмону приписывают ряд поэм на религиозные сюжеты: «Бытие», «Исход», «Даниил», «Христос и Сатана».

Когда Беовульф убил чудовище Гренделя и его мать, король данов, благодарный ему за это, говорит: «Благороднейший друг мой Беовульф! / Мудромыслием, доблестью / ты стяжал теперь / нашу дружбу (фрит) / и назван сыном», и он не мог дать ему ничего более ценного. И то же самое чувство привязанности и взаимных обязательств присутствует и в словах двух архиврагов: Финна и Хенгеста, когда они, после отчаянной схватки, заключают прочный фрит, но вскоре разрывают его.

Однако полное значение этого слова еще не исчерпано. В нем есть и другие оттенки: честное, решительное намерение обрести верность; а также безоговорочное доверие, которое лежит в основе понятия «фрит». Кроме того, он включает множество других чувств: радость, удовольствие, привязанность, любовь. Основную часть процитированных выше отрывков из саг, если не все из них, можно понять лишь наполовину, если не учесть все оттенки значений. В англосаксонском языке слово *sib* – или «мир» – имеет и такие значения: освобождение от страданий, душевный комфорт, как в поговорке: «На смену скорби приходит *sib* – любовь». И когда северянин говорит о любви к женщине, это тоже фрит, смысл которого в данном случае наполняется страстью.

Не надо сомневаться в том, что чувство фрита включает в себя любовь и что родственники любят друг друга глубоко и искренне. Именно любовь, которую они испытывают, изменила первоначальное значение древнескандинавского слова *svass* и англосаксонского *svaes*. Вероятно, вначале оно означало «чей-то тесно связанный», но в англосаксонской поэзии оно демонстрирует тенденцию к обозначению родственника и одновременно наполняется новыми оттенками смысла: близкий, дорогой, любимый, приносящий радость. В Скандинавии оно сконцентрировалось на этом чувстве; более того, существует очень сильное слово для обозначения родственной любви. Из того, что мы видели, отношения между братьями, а также между братьями и сестрами у германских народов, как и у всех людей, связанных между собой общей культурой, были очень тесными. Взаимоотношения братьев и сестер превосходят по силе желаний, мыслей и чувств все другие. Родство обладало глубиной и богатством чувств.

Помимо любви, во фрите присутствует и сильная нота радости. Англосаксонское слово *liss* представляло собой сочетание нежности и прочности, которыми обозначали чувство родства. Оно передает ту нежность и заботу, которую друзья проявляли друг к другу; оно означает милость короля к своим придворным; в устах христианских поэтов оно помогало выразить милость Божью. Но *liss* еще и радость, удовольствие, счастье, то удовольствие, которое человек испытывает, находясь у себя дома, в кругу преданных друзей. Оба эти значения – которые, конечно же, очень близки – звучат в словах Беовульфа: «И теперь / те сокровища / я тебе от души подношу, / господин мой, / ибо *счастье* ищу / лишь в твоей / благосклонности: / ты родня мне, / – один из немногих! – / добрый мой Хигелак!» – так он приветствует своего дядю, словно пытаясь объяснить, почему он предложил трофеи родственнику. «Весь мир погиб после смерти бесстрашного Трюгвасона» – этими простыми словами скальд Хальфред выражает свою безмерную скорбь, которая охватила его после гибели любимого конунга.

Радость (*gladness*) была характерной чертой человека и говорила о том, что он свободен. *Glad-man* – человек счастливого ума – так называют человека, которому хотят воздать хвалу. В эддической песни «Речи Высокого» (*Havamal*) говорится, что хозяин должен быть великодушен с гостем: «Гостю вода / нужна и ручник, / приглашенье учтивое, / надо приветливо / речь повести / и выслушать гостя»⁹. Это согласуется со следующим стихом из «Беовульфа»: «...О даритель сокровищ, / да возрадуешься ты, / друг воинов! / Слово доброе молви гаутам, / будь с гостями не скуп, / но равно дари и ближних, / привет и дальних!» Так королева Вальхтеов наставляет Хродгара, короля гётов. Точно так же, как устойчивыми эпитетами для мужчин были «храбрый» и «хорошо вооруженный», так и «счастливый» можно считать тем словом,

⁹ Речи Высокого. Пер. А.И. Корсуна.

которое означало, что человек наделен от природы всеми прекрасными качествами. Поэтому, когда в «Беовульфе» говорится, что дева Фреавара «была обещана сыну Фроды, счастливицу», это следует понимать, что этот юноша, Ингельд, всеми признан как совершенный рыцарь.

Радость – неотъемлемое свойство жизни, для фрита оно является определяющим. Связь между радостью и дружеским чувством столь тесная, что они не могут существовать друг без друга. Вся радость связана с фритом; без него нет и не может быть радости. Когда поэт в «Бытии» говорит, что восставшие ангелы лишились радости, фрита и удовольствия, он этим сочетанием слов дает нам понять, что не просто перечисляет три наиболее важных качества, которых они лишились из-за своего бунта, но и выражает формулу самой жизни, которую он рассматривает со всех сторон.

Наши предки были очень общительны в своей радости. Социальное взаимодействие и благополучие были для них синонимами. Когда они сидели за столом или вокруг очага, каким бы он ни был, они становились шумными и смешливыми, поскольку испытывали радость и удовольствие. Слово «удовольствие», конечно, имело для них много значений – от удовольствия от хорошей еды и хорошей беседы до многих других, удовольствие – это понятие общественное, это удовольствие от общения с родственниками, от осознания собственного достоинства, обладания наследством, домом, полным веселья. Иными словами, это чувство общности, которое составляло основу их счастья.

Теперь мы можем понять, что радость или счастье заключались не в удовольствии от общения; оно черпало свою возбуждающую силу в осознании того, что ты принадлежишь фриту. Радость – это привилегия семьи, ее наследие, фамильная ценность. Англосаксонское слово *feasceaft* {букв. нищий, отверженный} обозначало человека, который не мог ужиться с другими, изгоя, не имеющего родичей, но это слово имеет и дополнительное значение: несчастный, безрадостный; но не потому, что изгнанный из мира должен влечать тоскливое существование, а потому, что он, уйдя из дому, повернулся спиной к радости. «Радость» надо рассматривать как нечто придающее индивидуальность; как счастье, царящее в доме; то, что человек оставляет позади, уходя в неизвестность. У того, кто бросил свой дом, больше не может быть радости в жизни. Тот, кто порвал с радостью по своей собственной воле и по воле тех, кто рядом с ним, утратил всякую возможность ощущать полноту жизни. Его душа пуста.

Чувство родства – неперемное условие жизни человеческого существа. Именно это делает страдания, причиненные разрушением фрита, невыносимыми, не сравнимыми ни с чем в мире. Для нас конфликт, возникший в душе Гудрун, когда она видит своего мужа убитым и узнает, что он погиб от рук ее братьев, кажется самым жестоким из всех, от которого разрывается на части душа. Но для германца было испытание и посильнее – изгнание. Разрыв с миром породил страдания, которые невозможно описать словами; они душили человека, от которого отказались родственники, лишали его всех признаков человеческого существа, и душа его умирала. Страдания отвергнутого фритом не могли пробудить в нем никаких чувств. Сама способность испытывать радость в нем умирала. Воля, заставлявшая действовать, была убита. Энергия сменялась состоянием, которого люди Севера боялись больше всего и презирали, – отчаянием.

Радость – это то, без чего нельзя быть человеком. Она неотделима от фрита; это совокупность счастья и наследие. Но радость содержит в себе и нечто другое.

В поэме о Беовульфе возвращение героя из странствий описывается такими словами: «Он возвратился / в свои владенья, / в земли Бродингов, / в дом наследный, / где правит поныне, / на радость подданным, / казной и землями».

Какие идеи были связаны с радостью? Ответ содержится в старом слове: «честь».

Глава 2

Честь

Фрит и честь – это то, что составляет смысл жизни, самое необходимое для того, чтобы человек жил полной жизнью и был счастливым.

«Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою <... > пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле»¹⁰, – сказал Господь, обращаясь к Ною, когда тот покидал ковчег. Англосаксонский поэт в своем поэтическом изводе книги Бытия выражает эту мысль такими словами: «Будьте плодовиты и размножайтесь; живите с честью и удовольствием в мире».

Давным-давно в Исландии неподалеку у Ледового фьорда жил старый человек по имени Хавард. В молодости он был смелым воином, но, поседев и состарившись, не накопил богатств и не имел большого влияния. Его единственный сын Олав был отважен и любим людьми. Торбьёрн, местный вождь, живший в Лаугаболе, влиятельный и несговорчивый, завидовал Олаву, ибо мечтал быть первым во всем, быть единственным героем в округе, и он добился этого, убив Олава. Когда до Хаварда дошла весть о смерти сына, он, испустив стон, упал без чувств и пролежал целый год в постели.

Никто не верил, что одинокий старик может добиться от богача из Лаугабола возмещения ущерба. Убитая горем жена Хаварда тащила на себе все домашнее хозяйство, днем ходила на рыбалку со своим слугой, а остальную работу делала ночью; но в конце года ей удалось убедить старика встать с постели и потребовать от хозяина Лаугабола выплаты виры – штрафа. Старика встретили с презрением, но требования о возмещении ущерба не отвергли; Хаварду было велено пойти за ограду и забрать то, что ему причитается. «Если ты удовлетворишься таким возмещением, можешь забирать его с собой и владеть им в свое удовольствие», – заявил Торбьёрн и прогнал старика. За оградой Хавард увидел такое же старое, хромое и увечное существо, как и он сам, – одряхлевшего мерина, не способного даже подняться на ноги. Хавард поплелся домой и опять слег на целый год.

И снова жена заставляет его встать. Хавард отправляется в суд, приговаривая: «Если бы я знал, что придется мстить за своего Олава, я бы никогда не подумал, как дорого мне придется за это платить!» И так, он едет туда, где заседает тинг – суд. Торбьёрн, увидев, что старик вошел в дом, сначала не мог даже может вспомнить, какое дело привело его сюда. «Я не могу забыть об убийстве моего сына Олава, как будто это было вчера, и потому я должен потребовать, чтобы ты заплатил мне за него», – говорит Хавард, но снова ничего не получает, одни лишь оскорбления и насмешки. Хавард в отчаянии покидает тинг, почти не замечая людей, которые выражают ему сочувствие.

Третий год в постели оказался более тяжелым, чем предыдущие, ибо у Хаварда разболелись суставы. Бьярни, его жена, по-прежнему ухитрялась вести домашнее хозяйство и еще находила время убеждать своих родственников помочь им. Они сообщали ей о поездках Торбьёрна и о том, какие дороги он выбирает. Наконец в один прекрасный день, на третье лето после гибели сына, она подходит к кровати и говорит: «Ты слишком долго спал, сегодня ночью твой сын Олав должен быть отмщен, иначе будет поздно». Ибо отмщение должно было свершиться не позднее, чем по прошествии трех лет со дня убийства.

Это было уже совсем другое дело, чем ездить к Торбьёрну и униженно просить о возмещении ущерба. Великая ярость обуяла Хаварда. Ощувив прилив сил, он спрыгнул с кровати, отворил большой ларец, полный оружия, извлек оттуда шлем, кольчугу – облачился,

¹⁰ Бытие, 8: 16, 17.

вооружился секирой и еще до рассвета отомстил обидчику. На следующее утро он явился к Стейнтору из Эйри, сообщил ему об убийстве четырех человек и, посмеявшись над своими будущими проблемами, заявил, что ничего не боится: «Ибо теперь все мои мучения и горе закончились».

Потеряв сына и не в силах отомстить, Хавард испытывал постыдное бесчестие. Это потрясло его душу до самого основания, Хавард впал в состояние полной беспомощности. Во время тинга он ходил, как выразился один из очевидцев, «словно человек, ни на кого не похожий, могучий, но побитый жизнью; он ковылял словно калека, но все равно выглядел мужественно; его снедало горе и беспокойство». Но когда Хавард отомстил обидчику, в его венах снова забурлила кровь; обретя честь, он словно переродился. К нему вернулась прежняя сила, легкие наполнились воздухом, и даже увечные ноги окрепли. Хавард вздохнул и снова почувствовал, как в него вливается новая жизнь, рождается новая сила. Его ум молодеет и вновь познает, что такое опасность, что такое трудности; Хавард наполняется бурной радостью, истинным ликованием жизни, которому не страшна смерть. Однако о кровавых деяниях Хавард более не помышляет («Сага о Хаварде из Ледового фьорда»).

Павел Диакон¹¹ рассказывает нам о старом ломбардце по имени Сигвальд, который, подобно Хаварду, устал от жизни и пожинал плоды радости после долгих страданий. Он потерял двоих сыновей в битве со славянами, вторгшимися в его страну. Он жестоко отомстил им во время двух битв, а когда надвигалась третья, настоял на том, чтобы участвовать в ней, несмотря на все протесты, «ибо, – заявил он, – я с лихвой отомстил за своих сыновей и теперь с радостью встречу смерть». И он пошел на смерть от избытка жизненных сил.

Честь сразу же вызывает мысль о мести. Тот, кто хочет сохранить свою честь, должен мстить, и не только потому, что в сагах они ходят рука об руку, но потому, что только в мести мы можем увидеть глубину и широту чести. Мечь содержит в себе освещение и объяснение жизни; мстителю кажется, что только в мести жизнь проявляет свою истинную суть и наиболее прекрасна. Это жизнь в своем самом ярком проявлении.

Хавард и Сигвальд – истинные герои своего времени. Как бы далеки ни были от нас их мотивы и причины для мести, они внушают нам благоговение. И наш интерес к ним пробуждают не их мужество, жестокость, юмор или острота ума; мы смутно ощущаем, что мечь – это высшее выражение их человечности, и нас охватывает желание превратить наше благоговение в сочувственное понимание их идеалов, побуждавшие их к отмщению.

Мечь, которой движет не только жажда крови, но и желание восстановить честь и справедливость, возвышает человека, ибо пробуждает внутренние силы – телесные и духовные. Она увеличивает мощь до невероятных пределов, помогает чувствовать себя сильнее и храбрее. Но мечь, помимо этого, учит выжидать и обдумывать план мести. Год за годом человек может ждать и наблюдать, выстраивая свои действия таким образом, чтобы воспользоваться самым подходящим моментом для удовлетворения своей чести. Даже занимаясь повседневной работой, заготавливая сено или ухаживая за скотиной, человек постоянно следит за дорогой – не проедет ли по ней нужный ему человек? Мечь учит его относиться к времени и пространству, как к пустякам. Один может помнить обиду всю жизнь, другой – пересечь моря, имея перед собой одну цель – отомстить обидчику.

Шестилетний мальчик, отца которого убили на его глазах, слышит такое напутствие: «Не плачь, но помни об этом!» Мечь воспитывает его и преображает. Она не только возвышает его, но держит в постоянном напряжении, возносит на более высокий уровень, ибо желание воздать за злодеяние – не только самое высокое из всех чувств, но и самое естественное, самое человеческое. Люди могут сильно отличаться друг от друга, но в одном они едины – они должны воздать должное за обиду и не могут этого не делать.

¹¹ Павел Диакон (ок. 720–799) – бенедиктинский монах, историк Ломбардов, хронист эпохи Каролингов.

Какой же была месть у древних германцев?

Она не была плодом чувства справедливости. Есть народы, которые видят в правосудии жизненно важный принцип своего существования, на котором держится мир. Они верят в существование прямой связи между поведением людей и движением планет, поэтому преступление, за которым не последовало наказания, висит тяжелым грузом над всем человечеством. Чтобы избежать голода, разгрома или разрушения мирового порядка в целом, нужно, если возникнет такая необходимость, казнить сыновей за преступления их отцов и наоборот. Германские народы не относятся к этому типу. Чувство справедливости у них требует совсем другого сознания, чем у греков, римлян и жителей Ближнего Востока.

Не понимали северные варвары и симметричного принципа морали, выраженного в словах «око за око, зуб за зуб». Германский ум плохо представлял себе смысл слов «кара», «воздаяние».

Если понимать жажду мести как желание одержать верх над противником, то это никак не согласуется с германской идеей. Викинги очень тщательно планировали месть и свершали ее с невообразимым хладнокровием; хочется даже сказать, по-деловому. Мститель вонзает топор в голову врага, вытирает лезвие об траву, чтобы не осталось следов крови, накрывает тело жертвы, согласно обычаю, и уезжает прочь. Он не испытывает никакого желания уродовать тело; надругательства над останками погибшего в истории северян случались крайне редко и считались исключением из правил, а человек, совершивший это, становился изгоем. В редких случаях тяжелые воспоминания заставляли убийцу забыть в гневе. Хавард, нанеся Торбьёрну смертельный удар, ударил его еще и топором по лицу, ибо тот однажды хлестнул его по голове сумкой, в которой хранил зубы Олава Хавардсона, выпавшие после удара, убившего его. Но поступок Хаварда тут же вызвал у его спутника вопрос: «Зачем ты ударил мертвеца?» Даже если враг еще не умер, викинги считали бесчеловечным наносить удары смертельно раненому. Это считалось подлым, недостойным поступком.

Вид поверженного врага не вызывал в душе убийцы никакого сожаления. И если даже и вызывал, то, скорее, оно было мимолетным и никакого удовлетворения от свершившейся мести человек не испытывал. Но за внешним спокойствием скрывались радость и гордость, ибо акт мести более чем что-либо другое достоин хвалы. Прославляли и того, кто это сделал, и того, ради кого совершалась месть, и тот народ, к которому принадлежали обе стороны. И эта радость шла из глубины и была проявлением жизненного экстаза.

У того, кто стремится покарать, как у человека мстительной натуры, все мысли сосредотачиваются на обидевшем его человеке; он думает, как лучше его наказать, как ударить в самое больное место. У мстителя же все мысли сосредоточены на себе. Все зависит от того, что сделает он сам, а не от того, какие страдания он принесет другим. Мститель приобретает – он обогащается местью.

Для правильной мести нужно соблюсти два условия: чтобы обидчик пал от удара оружием и чтобы это оружие находилось в руках оскорбленного. Если убийца еще до того, как на него падет месть, умрет естественной смертью, будет убит случайно или сумеет скрыться, оскорбленная сторона не должна успокаиваться – она должна обратить свою месть на его родственника. Не считает семья погибшего местью и тот факт, что обидчик погиб от руки третьей стороны, не знающей ничего о предыдущей трагедии. Месть не свершилась, ибо семья еще не «воздала почестей своему родственнику».

Самая несчастная смерть, которая может ожидать человека, – это пасть от рук рабов, особенно если они действовали по своей инициативе, а не по поручению какого-нибудь уважаемого человека; ибо мстить невольникам нельзя. Один из первых поселенцев в Исландии Хьёрлейв был убит своими рабами. Когда его названный брат Ингольв нашел его тело, он закричал в отчаянии: «О, горе этому храброму человеку, ибо он пал от руки рабов!»

Хавард, мстя за своего сына, отпускает на свободу рабов; нельзя отомстить за гибель сына, забрав с собой их ничемные жизни. Столь же позорной, как смерть от руки рабов, считалась и гибель от руки бродяги, человека, не имеющего благородных спутников, названных братьев или товарищей по оружию. В этом случае не только сама месть становилась ненужной, ибо она касалась человека-одиночки, но и чести от нее было мало.

Впрочем, даже среди родственников могла быть месть разной ценности. Если семья убитого ощущала потерю очень глубоко, поскольку тот был одним из самых уважаемых ее членов, либо сама семья считала себя более знатной, чем другие, то она немедленно убивала самого лучшего представителя семьи обидчика. Этот обычай – мстить тому родственнику погибшего, которого считали «более достойным» для мести, просуществовал на Севере очень долго.

Во введении к норвежскому своду законов Фростатинга читаем: «Король Хакон, сын короля Хакона, сына короля Сверрира, до сих пор скорбит о дурном обычае, который долго существовал в его земле; когда убивали человека, то его родственники брали такого родича убитого, которого считали самым лучшим, даже если он ничего не знал о свершившемся убийстве, не желал его или не был близок к погибшему, и не мстили самому убийце, даже если расправиться с ним было совсем нетрудно, благодаря чему дурные люди процветали, а хорошие не получали никакой награды за свою миролюбивую жизнь»; «и мы видим, что нас лишают самых лучших подданных нашей земли», – вздыхает отец норвежского народа.

Месть, таким образом, состоит в том, чтобы забрать что-то у противоположной партии. Человека лишили чести. И эту честь можно вернуть с помощью мести. Но честь – это не то, чем можно пожертвовать в случае нужды; утрату чести можно сравнить с раной, которая никогда не заживет и будет кровоточить, пока из тела не вытечет вся жизнь. Если он не сможет заполнить образовавшуюся пустоту, то никогда снова не станет самим собой. Эту пустоту можно назвать позором; это – страдание, мучительное состояние болезни.

Ньяль, миролюбивый, примиряющий всех Ньяль мало говорит об этом; но человеческие чувства столь же чисты в нем, как и у закаленного в боях Эгиля. Он посмотрел на свое старое тело и сказал: «Я не могу отомстить за своих сыновей и не хочу жить в страхе», после чего улегся на постель в пылающем доме («Сага о Ньяле»).

У Квельдульва другой характер – он выражает свои страдания в яростных конвульсиях. Его сын Торольв погиб в противостоянии с самим конунгом Харальдом¹²; простому йомену бессмысленно ожидать уступок от могущественного короля Норвегии. Квельдульв уже стар и давно отстал от времени; но жажда чести становится сильным стимулятором для его тела, и он, собрав последние силы, наносит удар по человеку, «которого Харальд не хотел бы потерять». Хотя оба этих человека совершенно разные по своей природе, представляя, так сказать, два противоположных полюса исландской культуры, тем не менее они думают и чувствуют одинаково и действуют руководствуясь одним и тем же принципом, который гласит, что честь терять нельзя, а месть – неизбежна. Пока люди жили старыми обычаями, вне зависимости от того, каким был мир за пределами их страны – языческим или христианским, человек не мог ни при каких обстоятельствах отказываться от мести. Требования чести игнорировать было нельзя, ибо это было то, что приходило изнутри, проявляя себя как болезненное чувство страха.

Жил однажды исландец, который совершил великое дело, нечеловеческий подвиг. После сражения на альтинге в 1012 г., когда перспектив для примирения не было и все предвещало фатальный раскол самого государства, Халль со Склона встал и сказал: «Все знают, что я был поражен горем, когда погиб мой сын Лют. Кто-нибудь из вас может подумать, что он будет одним из самых дорогих людей, павших здесь (то есть за смерть которого потребуются больше всего жертв). Но я сделаю это ради того, чтобы мои люди снова пришли к согласию; я оставляю

¹² Харальд Прекрасноволосый (ум. ок. 933) – сын Хальвдана Черного, конунг Вестфольда, первый король Норвегии. Представитель рода Инглингов, родоначальник династической ветви Хорфагеров, правившей Норвегией до XIV в.

смерть моего сына неотомщенной и дарую своим врагам полный мир и согласие. Поэтому я прошу тебя, Снорри Годи, а с тобой – и лучших своих воинов из тех, что собрались здесь, принести нам мир». После этого Халль сел. Его слова вызвали громкий шепот одобрения; все прославляли его великодушие и добрую волю. «И из-за того что Халль оставил смерть своего сына неотомщенной и много сделал, чтобы вернуть стране мир, следует сказать, что все, кто присутствовал на совете, собрали деньги и отдали ему. И когда их сосчитали, то оказалось, что там не менее восьми сотен серебряных монет; это было в четыре раза больше того, что требовалось в качестве виры за убийство человека».

Но для того чтобы подвергнуть жизнь опасности, вовсе не обязательно было проливать кровь. Оскорбление считалось смертельным и от раны, нанесенной ударом палки, и от острого меча, или даже от презрительно сказанного слова и небрежения. И лекарство во всех случаях было одним.

Если человек сидит среди других и разговаривает с ними, подчеркивая значимость своих слов ударами палки, и нечаянно ударяет соседа по носу, этот сосед может принять во внимание, что ударивший его близорук или чересчур возбудился. Никто также не назовет хорошо воспитанным человека, который, получив нечаянный удар по носу, вскакивает и бьет топором своего обидчика, но если горячий и близорукий собеседник будет случайно обнаружен мертвым в постели несколько месяцев спустя, то всем будет понятно, что кто-то приходил сюда, «чтобы отомстить за тот удар палкой по носу». И все согласятся с тем, что это была месть.

Это случилось с исландцем по имени Торлейв Кимби («Сага о людях с Песчаного берега»). Находясь в плавании на норвежском судне, он жестоко поспорил со своим соотечественником Арнбьёрном, когда они вместе готовили еду. Арнбьёрн разъярился и ударил Торлейва горячей ложкой по шее. Торлейв проглотил обиду: «Нет, я не допущу, чтобы норвежцы потешались над нами, исландцами, и разогнали нас, как пару собак; но я вспомню об этом, когда мы вернемся в Исландию». Впрочем, память у Торлейва оказалась короткой. Но когда он попросил руки девушки, на которой решил жениться, ее брат сказал ему: «Вот что я тебе скажу: я отдам тебе свою сестру в жены только после того, как ты залечишь свои шрамы на шее, полученные три года назад в Норвегии». Так удар ложкой и отказ брата невесты отдать ее за Торлейва из-за шрамов на шее привели к тому, что в двух обширных районах вспыхнула война, которая привела к смертельной и длительной вражде между семьями обидчика и пострадавшего. Однако с точки зрения морали того времени причина вражды и ее последствия были вполне сопоставимы по масштабам.

Если человека назвали вором или трусом, который таковым не являлся, или обидели, обозвав безбородым, и ему было трудно это отрицать, поскольку факт был налицо, он в любом случае мог получить полную компенсацию за оскорбление, если хотел защитить свою честь.

Ньяль был мудр и богат, знал законы и слыл добрым соседом. Был он хорош собой, но был у него один недостаток – у него не росли борода и усы. Жена Гуннара, злоречивая Халльгерд, узнав, что сыновья Ньяля возят навоз на поля, в разговоре со скальдом Сигмундом не смогла удержаться от колкости:

– Такой умный мужчина, знающий все на свете, и не может понять, куда следует возить навоз! Неужели ему невдомек, что удобрять следует те места, где плохо растет. Ведь он знает, что все зовут его безбородым стариком, а его сыновья отныне будут зваться навознобородыми! А ты, Сигмунд, потрудись – изложи все это в стихах, пусть от твоего искусства будет хоть какая-то польза!

Сигмунд сделал все, чтобы заслужить похвалу Халльгерд, и его висы вышли злыми и оскорбительными.

Стихи дошли до ушей жены Ньяля, женщины суровой и непреклонной. Когда мужчины сели ужинать, Бергтора сказала:

– Вы получили подарки: и ты, Ньяль, и твои сыновья. Стыдно будет, если вы не отблагодарите Халльгерд за них.

– Что еще за подарки? – удивился Скарпхедин, старший из сыновей Ньяля.

– Вас, мальчишки, назвали навознобородами, а хозяина дома – безбородым стариком!

– Мы не женщины, чтобы сердиться из-за пустяков, – возразил Скарпхедин.

– Но тогда рассердится Гуннар, и если вы не вступитесь за свои права, то никогда не отмоетесь от позора! – не унималась Бергтора.

– Похоже, нашей матушке нравится нас дразнить, – сказал Скарпхедин с улыбкой, но на лбу у него выступили капельки пота, а щеки пылали от гнева; такого с ним еще никогда не было.

Грим хранил молчание, кусая губы; лицо Хельги осталось невозмутимым. Бергтора вышла, и Хёскульд последовал за ней, но вскоре вернулась, пылая от гнева.

Ньяль попытался ее успокоить:

– Успокойся, женушка, я все улажу, дай только время. Ведь, как говорится, о мести всегда судят по-разному: одним она кажется справедливой, другим – наоборот.

Вечером Ньяль услышал за стеной звон секиры и поспешил в оружейную.

– Кто поснимал наши щиты? – спросил он жену.

– Твои сыновья сняли их и ушли, – ответила Бергтора.

Ньяль сунул ноги в сапоги и обошел дом; он увидел, что сыновья поднимаются на гору.

– Куда вы?

– За овцами, – ответил Скарпхедин.

– Зачем тогда взяли оружие? Мне кажется, у вас на уме что-то другое.

– Так и есть, мы идем на рыбалку.

– Ну, раз так, надеюсь, у вас будет богатый улов.

Вернувшись домой, Ньяль сказал Бергторе:

– Все твои сыновья ушли из дому, вооружившись. Похоже, их выгнали из дому твои резкие слова.

– Я буду горячо благодарить их, если они вернуться и скажут мне, что Сигмунд мертв.

Братья вернулись с хорошим новостями и рассказали обо всем отцу.

Тот ответил:

– Отлично сделано! («Сага о Ньяле»).

За всякое преступление одна расплата – смерть. Даже если дело идет об отстаивании своих прав или возмездии за преступление, расплачиваются все равно той же монетой. Если люди верят, что бранные слова могут нанести урон их чести, можно подумать, что и их собственные оскорбления будут иметь тот же эффект. Но грубые слова в ответ на чужую брань не способны восстановить поруганную честь: горечь от них остается, а человек может лишиться мести. Поэтому северянин не хотел брать своего врага в плен и осыпать его оскорблениями, он предпочитал сразу же убить его; ибо он опасался унижить себя, вместо того чтобы восстановить свою честь. Германцы считали бесчеловечным унижать врага, лучше было его уничтожить. Месть была слишком дорогим делом, чтобы с ней шутить.

Людей заставляла искать мести поруганная честь, а не какие-нибудь пустяки. Гильдии, как старые семейные кланы, жили во фрите и хранили свою честь. В их статутах принципы, лежавшие в основе древнего общества, были сведены в параграфы. Человека изгоняли из гильдии и объявляли нидингом – отщепенцем, если он нарушал фрит во время ссоры, возникшей между братьями, где бы она ни произошла – в доме гильдии, на улицах города или в другом месте. Такое же наказание ждало и того, кто отказывался помочь своему брату в его делах с людьми, не входящими в состав братства. Но грехом считалось и то, что брат терпит оскорбления и не зовет на помощь других членов гильдии; а если он не мстит за оскорбление с их помощью, то его изгоняют из братства, как источник заразы.

Хотя законы фрита не были объединены в один свод, они тем не менее были известны всем; их власть была так велика, что законоведы начинали осознавать ее, как только оказывались в оппозиции к ним. С другой стороны, честь безоговорочно признавалась в правовых кодексах.

Для собратьев по фриту месть была обязанностью; закон называет этот долг правом. Законы Исландии позволяли убить человека на месте, если он напал на вас или ударил, даже если на теле не осталось видимых повреждений. Что касается более серьезных ударов или ран, а также смертельных оскорблений, обидчика можно было убивать тогда и в таких местах, где он был обнаружен в срок до следующего собрания альтинга. В это время месть считалась законной.

Но если человек приходил домой, не отомстив за небольшую обиду; или не рассчитывался за более серьезное оскорбление в течение осени, зимы и весны, то его лишали права уладить это дело своими собственными руками; он должен был подать иск на своего обидчика в суд. Так закон сам себя разделял. Развитие шло по линии сокращения права мести; но, пока необходимость мести признавалась в принципе, вводились только внешние ограничения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что такие непрочные барьеры не могли удержать того, кто искал мести.

В законах Норвегии процесс ограничения зашел еще дальше. По большей части для самых серьезных преступлений необходимость мести признавалась. Власти могли по необходимости оказать лишь моральную поддержку человеку, отомстившему за убийство своего родственника или за то, что женщины из его семьи подверглись бесчестию; но назвать эту месть преступлением, хотя бы и не совсем крупным, даже в раннее Средневековье, было делом немислимым. Но и здесь законы норвежских королей пытались установить предел действиям человека. Впрочем, были некоторые сомнения – как относиться к самым тяжким преступлениям: можно ли отказать человеку в праве ответить ударом топора на оскорбительное обращение: «старуха», «сука», «шлюха», «рабыня»? Но, получив рану, удар, легкий толчок локтем, презрительную насмешку в свой адрес, человек уже мог обратиться в суд.

Тем не менее понятие о чести все еще было сильным. Хакон Хаконсон, во введении в Закон Фростатинга¹³, утверждал, что месть за раны и оскорбления должна считаться законной, если она осуществилась до того, как стороне обидчика было предложено заплатить виру. Слабые возражения: «за исключением тех случаев, когда король и другие люди постановили иное» – свидетельствуют о том, что все попытки реформировать законы сверху оказались беспомощными; это давало добро старым порядкам и превращало реформы в пустые слова. И если обидчик, полагаясь на свое богатство и власть или на помощь влиятельных родственников, предлагал помириться, то оскорбленная сторона имела право выбора – принять условия примирения или нет.

В наши дни вызывает улыбку одно нововведение, на которое в далекие времена смотрели с большой надеждой: человека, который отомстил обидчику, нельзя считать виновным, если его месть не превышала нанесенного им ущерба. Все, что свыше, должно было быть тщательно оценено в качестве уплаты за ущерб, после чего выплачивалась компенсация. Идея, конечно, хорошая, но как оценить, какой размер наказания соответствует совершенному преступлению и чему должна быть равна доплата, если таковая имеется? Гораздо лучше выглядела идея мягкого увещевания, которой должны были руководствоваться члены королевской свиты: не мстите чересчур неожиданно, и пусть ваша месть не будет чрезмерной. Так записано в своде законов короля Магнуса¹⁴ 1274 г.

¹³ Закон Фростатинга (Frostathings-lov) – законодательный свод Тронхейма, Северо-Западная Норвегия.

¹⁴ Магнус VI Законодатель (*норв.* Magnus Lagabote, *букв.* «Исправитель законов») – король Норвегии с 1263 по 1280 г. При нем были изданы первый общенорвежский свод законов (1274) и отдельный законник Исландии.

Все эти попытки изменить образ мыслей людей носят печать слабости; сами эти улучшения свидетельствуют о том, как сильно и прочно обычаи старых времен впечатались в сознание людей: вред того или иного рода требует исправления, и это исправление, разумеется, должно происходить в форме мести. Да, стали зарождаться новые идеи; но пока еще реформаторы не могли заложить ничего нового в фундамент новой жизни и поэтому вынуждены были опираться на старое, основывая свои указы против мести на том факте, что месть – это то, без чего человек обойтись никак не может.

Нет никаких сомнений, что между законом и жизнью пролегает пропасть, и для того, чтобы трактовать и применять законы, требуются особые знания. Ученый правовед с легкостью различает оттенки и степени преступления, которые обычный человек просто не замечает. Старые норвежцы, собираясь в суде, «с интересом слушали, как люди, поднаторевшие в изучении законов, рассуждают о различиях между раной, обнажившей кость, но закрывшейся после лечения, и более серьезным случаем, когда кусок плоти того или иного размера был отрублен полностью и упал на землю. Слушатели прикидывали в уме, сколько обидчик должен заплатить за первый удар и сколько – за второй. Им была предложена классификация различных терминов преступлений. Полный штраф должен быть выплачен, во-первых, когда один человек оскорбляет другого, лежащего в родах, во-вторых, если он заявляет, что другой одержим неестественными желаниями; в-третьих, если он сравнивает его с кобылой, троллем или шлюхой. Аналогичным образом, полный штраф полагается, если человека обзовут трэллем (рабом), шлюхой или ведьмой; что же касается других штрафов, приводятся оскорбительные слова, за которые полагается небольшой штраф; за них можно отомстить, сказав: «Сам такой».

После того как заседание объявлялось закрытым, добрые люди расходились по домам и продолжали кроваво мстить за крупные преступления и мелкие обиды, словно никогда и не слышали о градации преступлений. Также исландцы, эти суровые защитники своей чести, спорившие и мстившие за ее поругание старыми добрыми способами, приходили на свой альтинг и слушали, как правовед читает главу об убийствах, во всей ее искусственной сложности, перечисляя условия, возможности и обстоятельства, вплетенные в нее, до бесконечности. И никто из них не смеялся; наоборот, все слушали с глубочайшим интересом.

Если бы мы не знали, как на самом деле обстояли дела, мы решили бы, что в обществе произошел раскол. Но нет.

В Исландии, по крайней мере, не было и следа какого-нибудь различия между кастой, дарующей народу закон, и толпой, не признававшей никакого закона. Те же самые твердолобые йомены, которые сражались друг с другом в своих районах, были правоведами со степенями, любившими и умевшими распутывать юридические хитросплетения. Именно эти крестьяне и превратили законы Исландии в сложную сеть казуистики. Закон на острове саг представлял собой стройную, доведенную почти до совершенства систему, которую можно было найти только в Исландии и нигде больше. Она была создана постоянными судебными процессами и постоянным законодательством. Почти то же самое происходило и в Норвегии. Хотя повсюду люди, изучившие законы, в более узком смысле, жили рядом с теми, кто их не знал, различие заключалось лишь в объеме их познаний и никак не влияло на проявляемый к закону интерес.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.